

Медный лоб самого низкого сорта

Автор: Полонский Яков Петрович

Медный лоб самого низкого сорта

Рассказ несовременный

I

У Христофорского Мокея Трифоныча случилось маленькое несчастье: прачка потеряла носовой платок.

Трофим, нечто вроде дворника и в то же время нечто вроде слуги Мокея Трифоныча, стоял по этому случаю спиной к двери и, надувши губы (и без того толстые), упирал глаза свои в затылок своего огорченного барина. Скуластое лицо его было покрыто сумраком негодования.

Был поздний час утра.

Барин, сухой и длинный, на длинных йогах, как на жердях, стоял у комода спиной к Трофиму и то из комода на комод, то с комода в комод перекладывал белье свое. На ногах его были узенькие брюки верблюжьего цвета, на спине крест-на-крест рисовались подтяжки, на сухощавой шее, сверх повязанной манишки с высокими стоячими воротничками, не было галстука. Христофорский только что начал одеваться...

Трофим, сутулый и плечистый, был в тулупе и в смазных сапогах, ибо на дворе был еще местами снег, а на улицах грязь, хоть и веяло уже весенним воздухом. Впрочем, Трофим, не боявшийся никаких морозов, почему-то иногда и летом ходил в тулупе, вероятно, потому же, почему и медведи летом не скидают с плеч своих медвежьей шубы.

Барину было около 27 лет; Трофиму под сорок.

Трофим, угрюмый на вид, был в полнейшем смысле слова неотесанный добряк, много на своем веку испытал всяких невзгод, остерегался и боялся всего на свете, в особенности господ, но одного только не боялся -- не боялся своего нового барина, Мокея Трифоныча. Готовый на услуги всем и каждому, он никак не мог угодить одному только Мокею Трифонычу, несмотря на то, что от этого господина зависела, так сказать, вся жизнь его, все его земное пропитание. Мокей Трифоныч мог сменить его и найти другого слугу, разумеется, мог это сделать не иначе, как с согласия купца и почетного гражданина Степана Степаныча Баканова, у которого нанялся он служить при кладовой, куда приносилась, привозилась и отдавалась на сохранение, за известный процент, всякая движимая собственность. Христофорский обязан был выдавать билеты, вести книги, записывать приход и расход и за все это получал от Баканова: квартиру, состоявшую из одной комнаты с перегородкой, дрова, свечи и 25 рублей месячного жалованья, вдвое больше того, что получал он в казенной палате, где был записан в качестве канцелярского чиновника. Но жалованье Трофиму шло по пяти рублей ежемесячно от того же Баканова. Таким образом, и услуги Трофима ему, Христофорскому, ничего не стоили. Христофорский гордился своим завидным положением.

Пересмотревши все метки и пересчитавши во второй раз все белье свое, Христофорский принялся окончательно его укладывать.

Нет как нет клетчатого фулярового носового платка, подаренного ему купчихой Забираевой, в то еще время, когда он азбуке учил ее сынишку и получал подарки к праздникам, -- нет как нет!

-- Ты мне где хочешь, а подавай платок, -- заговорил Христофорский в нос, не оборачиваясь и продолжая укладывать остальные платки.

-- А где я его возьму, -- отозвался Трофим, ухватившись за скобку двери.

-- Эдак-то вы меня с вашей прачкой-то всего обокрадете...

Трофим вытаращил глаза, молча мотнул раза два головой, очевидно, хотел из лица своего скорчить какую-то гримасу, но гримасы никакой не вышло... Личные мускулы с непривычки отказали ему в повиновении, только губы с большей энергией выступили вперед и еще больше надулись.

-- А на что мне ваш платок? -- проговорил Трофим.

-- На что! Подарил кому-нибудь, а не то пропил. Знаю я вас -- да-а!

-- Да-а! а кому я носовой платок подарю?

-- А почему я знаю... бабе какой-нибудь... а не то фабричным продал... Мало тут всякой сволочи, почему я знаю!..

При этом Христофорский осторожно задвинул ящик, зазвенел связкой ключей, и комод был заперт.

После этого Христофорскому больше ничего не оставалось делать, как только сесть на стул.

Он гордо сел на стул, расставил свои ноги и обеими руками оперся о свои тощие колена, как бы собираясь экзаменовывать или допрашивать подсудимого.

-- Ну, где ты мне теперь платок возьмешь? А?!-- спросил он Трофима, задумчиво скосивши на сторону длинный, совершенно птичий нос свой, и совершенно спокойным голосом.

-- А не знаю, где я вам платок возьму, -- отвечал Трофим, тоже совершенно спокойным голосом.

-- Ну, -- поковырявши в ухе пальцем и не поднимая глаз, сказал Христофорский, -- не знаешь, так и хорошо. Платок этот стоил мне карбованец, то есть рубль серебром, ты уж так и знай.

-- Чего? Ваш платок-то и тридцати копеек не стоит. Горячиться-то не из чего. Да!..

Трофим смутно понял намерение своего барина и явно был задет им за самое живое место, но он ошибался: Христофорский не горячился, он только вытянул ноги и еще ниже опустил глаза.

-- Ты уж так и знай! -- повторил Христофорский, в свою очередь задетый за живое, и на впалых Щеках его, оттененных реденькими баками, выступил румянец.

-- Да чего знать-то!..

-- По-твоему, тридцать копеек, а по-моему, рубль: я за него в городе заплатил рубль, потому что он как есть шелковый, значит, я за него рубль и вычту из твоего жалованья...

Губы Трофима надулись до такой степени, что Дрожали и готовы были лопнуть, глаза его также уставились на Христофорского.

-- Ну, ступай, и нечего тебе тут стоять!.. Ступай!

-- Да что ступай, помилуйте!

-- А за что мне тебя миловать?

-- Да как за что? Я вам сам другой платок куплю. Что вы?..

-- Мне теперь другого не надо, украли так украли, с кем греха не бывает, вычту, да и все тут...

-- Да из чего вычитать-то. А! Разве я потерял его? Уж коли того -- так с прачки и взыскивайте.

-- Ты с прачки и взыскивай. Мне-то что?

-- Да помилуйте!

-- А за что мне тебя миловать!

-- Жалованье-то не от вас идет. Я...

Христофорский окончательно весь покрылся румянцем. Он минуты две водил глазами по полу, как бы не решаясь взглянуть на губы Трофима, очевидно, негодующие. Он только покосился на них и вполголоса отдал приказание набить ему трубку.

Трофим, не переставая глядеть на барина, обошел комнату, достал в углу чубук и стал неистово продувать его.

-- Эдак, сударь, не делают, за двадцатикопеечный платок рубли высчитывать,-- мягким голосом заговорил Трофим, набивая трубку.

-- Ну, ну, не делают! Вас не штрафуй, так и без сапог находишься.

-- Это, сударь, того, выходит...

-- А разве ты не знаешь, -- сказал барин, величаво одной рукой принимая трубку, а другой подбоченившись,-- что от меня зависит завтра же прогнать тебя.

-- Я и сам другое место сыщу.

-- Ну, хорошо, ищи себе, свищи! Хорошо! Ты мне одной своей гармоникой надоел. Вот ты у меня поиграй, попробуй, когда я спать хочу!

-- Поиграю! -- мотнув головой и подавая Христофорскому спичку с огнем, решительно сказал Трофим.-- Ей-богу, поиграю!

-- Не смеешь!

-- Ей-богу!

-- Ну, попробуй...

-- А попробую...

-- А вот только попробуй... Га!.. Как!.. как ты смеешь!.. Как ты мне смеешь так отвечать? А!.. -- воскликнул Христофорский, вскочив со стула, как укушенный, вытянувшись в повелительную позу и приподняв чубук. В узеньких серых глазах его, под двумя закавыками таких же маленьких бровей, сверкнул гнев, верхняя губа ушла под нос, нижняя приподнялась кверху.

-- А, ей-богу же, попробую! -- с легкой дрожью на губах, еще решительнее отвечал Трофим.

-- По... по... пошел вон... болван! скотина! черт! вон пошел!.. -- закричал на него Христофорский, протянувши к двери указательный палец.

Трофим еще раз побожился и вышел вон...

Христофорский с минуту постоял в той же повелительной позе, с приподнятым чубуком, потом прошелся по комнате.

-- Ага, струсил! Видно, я не свой брат! -- подумал он, и стал насасывать чубук, но дыму не оказалось: весь табак с огнем и пеплом просыпался на пол... Христофорский присел на корточки и стал подбирать его. Тут случилось новое маленькое несчастье. В его помочах оказалось не довольно растяжимости, сзади оборвалась пуговица и покатила под комод. Христофорский не без труда отыскал ее, заперся, стащил с себя брюки, достал иголку с ниткой и сам пришил костяжку...

Потом он надел халат и целый час ничего не делал, сидел на диване, курил Жуков табак и мечтал.

II

А мечтать -- это было любимым его занятием. Почтенный Мокей Трифоныч был отчасти счастливый смертный.

"Ведь таких умных людей, как я, на свете не много,-- не шутя думал про себя Мокей Трифоныч,-- потому что я все могу... все... стоит только мне захотеть"; тут Христофорский мечтал, что, поступи он на сцену, будет лучше Мочалова и лучше всех актеров; купи красок, натяни холст и начни малевать, выйдет картина не хуже тех, за которые большие деньги дают; достань лексикон рифм, напишет стихи, да такие, что Пушкина заткнет за пояс, а вздумал волочиться -- беда! никакая мадам не устоит -- будь хоть принцесса... стоит только захотеть!.. Ну, не счастливый ли смертный! и добро бы еще он трудился и что-нибудь пробовал, ничуть: от роду не брал в руки кисти, никогда не выдумал ни одного стиха, и ни одной интриги не сумел свести ни с одной горничной... Откуда же была в нем такая уверенность, это уж бог его знает.

Расскажу в самых коротких словах всю жизнь его: Христофорского Макашу родила сорока лет от роду мелкопоместная харьковская дворянка, тоже Христофорская, и, родивши его, позабыла свое горе. Муж ее, Трифон Трифоныч, прапорщик отставной, умер ровнехонько за девять месяцев до рождения Мокея Трифоныча. Утешившаяся вдова повезла своего первенца показывать знакомым ей зажиточным помещицам, начиная с кумы, уездной предводительши, и кончая женой отставного поручика; таким образом, младенец

Мокей до семилетнего возраста своего путешествовал за хвостом своей маменьки из села в село, от двора к двору и проживал вместе с нею на хлебах, то у одной благодетельницы, то у другой. Младенца Мокея считали все дурачком: тешиться над ним было у иных деревенских барышен-зубоскалок одним из лучших препровождении времени, но маменька маленького Мокея была в постоянном от него умилении; она, сама того не замечая, отдавала его на всеобщее посмеяние: так, например, не раз она заставляла его при всех петь песню, которой бог знает какой чудак его выучил. Песня эта начиналась словами:

Шильники,
Мыльники,
Обдувалы,
Объедалы!..

Доходила до каких-то не совсем правильных выражений и кончалась выразительным восклицанием: "бу!.."

При этом "бу!" Макаша надувал щеки и кончал песню, клюнувшись носом вперед, при всеобщем хохоте. Маменька была больше всех в восторге, особливо, когда вслед за потехой давали ее сынишке орехов или пряников.

Макаша любил орехи и пряники, но маменька учила его не все съесть, а прятать и копить до поры до времени. Мальчик, убежавший от азбуки, как от чумы, слушался своей маменьки и учился бережливости.

Как он добился или, лучше сказать, как добились от него, чтоб он выучился грамоте, это рассказывать -- длинная история: тух дело не обошлось, во-первых, без ума предводительши, которая на целую зиму оставила его у себя, как крестника; во-вторых, не обошлось без немца, который учил детей ее по-русски, и, наконец, в-третьих, не обошлось без розог, которыми он сѣк Макашу в поощрение своих прочих воспитанников.

Но не одни розги его выучили, что розги! розгами он даже хвастался. "Э! девки, -- говорил он, входя в девичью. -- Как меня отодрали! у! никого так не драли!..". Нет, больше всего глупые внушения его матери помогли ему...

-- Ючись, гаубчик! -- говорила она, картавя и заливаясь слезами, -- ючись! выючишься, генерал будешь... а не выючишься и генералом, никогда ни ни -- никогда во веки веков не будешь!

Макаше очень хотелось быть генералом, и он в грехом пополам нет, нет, да что-нибудь и выучит...

Наконец, 11-ти лет поступил он в 1-й класс гимназии, а 17-ти лет был выключен из пятого класса за неспособностью. Семнадцати лет Христофорский уже не был дурачком, он был уже взрослым болваном, и трудно понять, отчего был в пренебрежении у всех своих товарищей, от того ли, что он ко всем лез и всем надоедал страшно, от того ли, что хвастался всем, чем не только можно, но чем, кажется, и не можно хвастаться -- своим развратом, хвастался тем, что маменька его боится, или, например, тем, что он однажды, до такой степени щипал какую-то кухарку, что та его прибила, чуть ухватом его в зубы не ударила, и тому подобное. Были и такие товарищи, которых хвастовство Христофорского потешало. Впрочем, бывали и такие минуты у Христофорского, когда он, рассказывая что-нибудь, вдруг краснел и обнаруживал смущение.

Исключение из гимназии было страшным ударом Для его самолюбия. Он побожился, что через год или два поступит в университет и всех обгонит: он достал все нужные для этого книги, много тетрадей переписал сам своей рукой и потом изредка, лежа у себя на квартире, кое-что перечитывал, но какое это было чтение! Он отдыхал после каждой страницы, воображал, что все знает, и курил трубку.

С треском провалившись на вступительном университетском экзамене в Харькове, Христофорский опять пришел в сильное смущение. "Это все вздор!-- сказал он про себя,-- меня не надуеть! Я знаю не хуже других, все прочел... Нет! я им докажу!.. Я не глупее их! Черти!" И вот, в одно прекрасное утро решил он и выкинул такую штуку, что не всякий и поверит: не простившись с матерью, как некогда Ломоносов из Архангельска, Христофорский из Харькова отправился с подводками -- да, чуть не пешком -- в Москву, с намерением учиться, вполне убежденный, что его с распростертыми объятиями примут в медицинскую академию (тогда еще была в Москве медицинская академия).

Кое-что почитавши, в особенности повторивши латинские склонения, Христофорский смело явился в Москве:

на экзаменах, говорят, смелость города берет,-- увы! Христофорскому и на этот раз не посчастливилось, так сказать, с бою взять студентское звание. Он черт знает, что отвечал; отвечал, что Полтавская битва была при Иване Грозном; отвечал, что земля сжата под экватором жарким поясом; отвечал, что Пушкин будто бы написал "Душеньку" Богдановича, одним словом, всех смешил, но отходил от экзаменаторов с уверенностью, что ответил великолепно. Этому, конечно, не поверят читатели, тем более, что Христофорский после всякого экзамена был часа два красен, как рак, и все потел. Неужели же, спросят меня, он не сознавал своего невежества? Не сердиты ли вы на него, г. автор? но автор, несмотря на то, что кровь бросалась в лицо Христофорскому, видел на губах его такую самодовольную, такую неизменно самоуверенную улыбку, что скорее готов вообразить себе Христофорского полупомешанным, чем сознающим свое тупоумие и крайнюю умственную несостоятельность; доказательством этому может служить и то, что Христофорский не себя обвинял, а профессоров, которые будто бы нарочно хотели сбить его, и задавали ему самые трудные вопросы, такие, каких и на билетах нет, да не только на билетах, но даже и в книгах нет. Итак, чем смеяться, лучше пожалеть о Христофорском. После неудачных экзаменов он остался в Москве с одним только двугривенным и чуть не умер с голоду, но кривая и тут его вынесла. Сначала он примостился к какому-то студенту Н-ко, старому харьковскому знакомцу, с которым он когда-то в детстве, на каком-то лугу змейки пускал. Студент Н-ко сначала принял в нем участие, но потом не знал, как от него отделаться: Христофорский каждый день с утра стал приходить к нему, в его отсутствие лежать на его кровати, курить его сигары, торчать с самодовольной улыбкой на сходках его товарищей и по временам выпрашивать у них деньги. Последнее извиним ему, потому что он действительно часто голодал или питался одним только чаем, тем более извиним, что такое выпрашивание совершенно прекратилось, когда Н-ко нашел ему урок у купчихи Забираевой, где-то далеко за Москвой-рекой.

-- Слушай, -- сказал ему Н-ко,-- даю тебе этот урок с тем, чтоб только ты никогда больше не приходил ко мне. Христофорский отвечал, что он постарается.

-- Ты такая деревяшка, -- нецеремонно сказал ему Н-ко на прощание, -- что на тебя, братец ты мой, смотреть противно.

Христофорский не поверил, что он деревяшка, но стал ходить давать уроки, то есть учить азбуке сынишку г-жи Забираевой.

Тут счастье повезло ему. В доме купчихи поверили и тому, что он все науки превзошел, и что все экзамены выдержал, и что маменька его такая помещица, у которой в саду одних яблоков в год собирается возов на двести. Христофорский как будто в рай попал, стал ходить в этот дом и утром, и к обеду, и вечером. Получал еще за это подарки к каждому двенадцатому празднику от самой г-жи Забираевой и, наконец, вообразил себе, что она, то есть сама г-жа Забираева Акулина Федоровна, женщина уже довольно пожилая, вдова солидная и богомольная, влюблена в него без памяти и что она прочит его себе в мужья. "Это неизбежно", -- думал про себя Христофорский,

-- Я скоро буду очень богат, -- сказал он студенту Н-ко, когда нечаянно столкнулся с ним на Тверском бульваре.

-- А что, разве наследство скоро получишь?

-- Нет, не наследство! -- задумчиво возразил Христофорский, как бы озадаченный новой для него мыслью: "А ну, как я и взаправду получу наследство?"

-- Так что же, коли не наследство?

-- Наследство еще я не скоро получу,-- сказал Христофорский, -- нет! а вот что я тебе скажу: одна богатая влюблена в меня.

-- В тебя! Ах ты чучело! -- сказал Н-ко и пошел своей дорогой, заломя шапку набекрень и не протянув даже руки счастливому смертному.

Говорят, будто люди с сильным воображением бывают обыкновенно люди очень умные; если это так, то Христофорский был умнее, чем мы с вами, добрые читатели, ибо воображал себя постоянно героем какого-то, хоть и мелкого и даже пошлого мира. Но твердо ходил он в этом мире на ходулях своего самолюбия. Вполне обладая медным лбом, самым завидным из всех ныне существующих, он смело мог

рассчитывать на блистательную карьеру. Но иногда этот медный лоб и звенел, ударившись в какой-нибудь рожон, и далеко звенел. Таким рожном совершенно для него неожиданно явилась вдруг добрейшая купчиха Забираева.

Раз, на масленице, после блинов с икрой, семги, хересу и других душеспасительных снадобий, Христофорский подсел к Авдотье Федоровне, потеряв руки и спросил ее, знает ли она, что он уже чиновник, что ему, наконец, удалось поступить в казенную палату на службу царю и отечеству.

-- Ну, дай бог! Дай бог! -- сказала купчиха Забираева, преодолевая сладкую дремоту и улыбаясь приветливо.

-- Теперь бы мне и жениться не мешало бы,-- сказал Христофорский, подбоченившись и улыбаясь двусмысленно.

-- А кто те мешает, отец мой, коли охота есть; только было бы чем жену содержать.

-- Да у моей невесты есть дом, состояние, лабаз на Полянке.

-- Ну, дай бог! Дай бог! А кто она такая, коли не секрет? -- спросила купчиха не без любопытства, но совершенно спокойным голосом, даже собиралась зевнуть.

-- Кто моя невеста? Гм! Вы! -- брякнул ей Христофорский и покраснел, как рак.

Хозяйка вытаращила на него глаза.

-- Что ты это...-- начала было она и не договорила, испугалась; ей вообразилось, что Христофорский с ума сошел. "Чего доброго еще какого-нибудь скандалу наделает"...

Встала она, вышла, не говоря ни слова, и заперлась, в образной, даже к обеду боялась выйти и вышла не прежде, как удостоверилась, что Христофорский, просидевши целый час у окна в зале, ушел.

На другой день Христофорский через лавочника получил от г-жи Забираевой пятнадцать рублей, и от уроков ему отказано.

-- А! Понимаю! -- сказал себе под нос Христофорский, проводив лавочника, плотного парня, с синим отливом на румяных щеках.

Но что в эту минуту понимал Христофорский, это осталось покрыто мраком неизвестности.

III

В казенной палате стал он заниматься перепиской бумаг за очень ничтожное жалованье. Рука у него была хороша, совершенно писарская; букву за букву выставлял он довольно медленно, но зато красиво. Ему давали переписывать отчеты. Нужда имела влияние на некоторые стороны его характера: он сделался гораздо трудолюбивее и даже как будто трусливее, лицо его все более и более стало выражать нечто вроде конфуза. Он уже перестал высказывать вслух свои гордые надежды, намерения и предположения, но не отстал от своей привычки надоедать своим никому не нужным присутствием. Стоило ему забраться в чей-нибудь дом хоть на 10 минут, чтоб обратиться надолго в постоянного посетителя, особливо если в этом доме пекут пироги, подают кофе и есть хоть тень того радушия, которым когда-то отличалась Москва. В иных семействах ни крестом, ни пестом нельзя было от него отделаться. Квартиру нанимал он на Плющихе у какой-то прачки, платил ей три рубля в месяц... Вообще природная бережливость, даже скупость помогли ему не тратить в месяц более 10 рублей, и в несчастные для него дни, то есть когда ему некуда было идти обедать, он отправлялся на толкучку и там с лотков наедался всякой дряни... разумеется, это делалось в припадках такого волчьего аппетита, который на волосок граничит от настоящего голода.

Год шел за годом, судьба Христофорского не улучшалась; знакомых было у него множество, но никто на уроки не хотел рекомендовать его; изредка давали ему кое-что переписывать и платили; он не отказывался ни от какой платы и работал.

Судьба, наконец, над ним сжалилась. Услыхал он где-то мельком, что есть очень богатый купец и почетный гражданин Баканов, который что-то сочиняет. Христофорскому пришла в голову счастливая мысль: он обходил многое множество лавок, расспрашивая, где живет Баканов, и так как язык может даже до Киева довести, то и довел его этот язык до хором купца Баканова.

Счастливая мысль натолкнула на счастливый случай. У Баканова была именинница дочь Саша, и Баканов

только что был осыпан ее мягкими теплыми поцелуями за бриллиантовую брошку, которую нашла она, проснувшись, на своем туалетном столике. Поцелуи взрослых дочек имеют магическую силу разглаживать морщины на челе их пожилых папенок.

В такую-то минуту доложили Баканову, что пришел-де какой-то Христофорский.

-- Кто бишь это такой! Не помню, -- сказал Баканов, -- а пусть войдет, поглядим на Христофорского. Позвать к нам г-на Христофорского!

Уже в самом тоне этого голоса слышалось светлое расположение духа.

Христофорский перешагнул порог в дверях кабинета Баканова (так Юлий Цезарь некогда перешагнул через Рубикон).

"А! -- подумал Баканов, -- верно, просить на бедность"... У Христофорского хоть и была повязана на шее чистая манишка, но жилет, сюртук и прочее были уже значительно потерты, по крайней мере имели столь же потертый вид, как и лицо его. Длинный же острый нос Христофорского глядел особенно меланхолически, на губах была подозрительная, натянутая улыбка. Но Христофорский, надо отдать ему справедливость, никогда не говорил о своей бедности. Баканов был приятно поражен неожиданной просьбой Христофорского.

-- Я-с, рекомендоваться имею честь, харьковский помещик Христофорский, был студентом, теперь служу в казенной палате и... и... так как вы, я слышал, много сочиняете, литературой занимаетесь, то я пришел к вам, Степан Степаныч, в случае если будете отдавать что-нибудь переписывать, то доставьте мне это удовольствие, ибо я пишу так, как не многие писать могут-с.

-- Гм! Так вы были в университете! Садитесь, пожалуйста, г. Христофорский! У меня действительно много есть кое-чего переписывать, но почему же вы знаете, что я пишу-с?

-- Я слышал, что вы занимаетесь философией.

-- Гм! Это вы от студентов слышали?

-- От студентов,-- проскрипел Христофорский.

-- А вы, ваша какая специальность?

-- Моя специальность? Я также изучал... я изучал литературу, в особенности же историю.

-- Препользительное занятие-с... помните, великолепное определение истории. Гм! История есть поприще, на котором дух человеческий совершает свое развитие,-- сказал Баканов, повторяя только что вычитанную им где-то фразу,-- а изучали ли вы когда-нибудь историю философии?

Христофорский нахмурился и повесил нос.

-- Нет-с... кажется, этот предмет мне не попадался,-- сказал он с некоторым сомнением в голосе.

-- По крайней мере читали ли вы эстетику Гегеля?

Христофорский еще ниже опустил нос, и Баканову показалось, что он обиделся. "Смешная физиономия!" -- подумал Баканов.

"Вот леший! Экзаменовать меня выдумал!" -- подумал Христофорский.

-- Мало ли что я читал-с! -- сказал Христофорский и даже покраснел с досады. Он всегда краснел, когда ему что-нибудь не нравилось или ставило в неприятное положение.

-- А вот извольте-ка посмотреть, какая у меня библиотека, есть чем позаняться,-- сказал Баканов, указывая рукой на шкапы с книгами.

-- Да, у вас очень хорошая библиотека.

Баканов стал показывать ему книги, в особенности французские, стараясь вовлечь его в ученый разговор, одним словом, покопаться в голове своего гостя, но Христофорский самодовольно улыбался, подбоченивался, оглядывал кабинет и не давал ему копаться в голове своей. Баканов, потолковавши с ним четверть часа о предметах, вызывающих на размышление, стал подозревать, что гость его или

действительно глуповат или мазурик.

-- Хорошо-с, я непременно дам вам переписку, непременно, только вот что... приходите ко мне в четверг утром или хоть к обеду; если хотите впредь получить, то вот вам... сколько вам?... ну, вот вам шесть рублей задатку... две трехрублевеньких! Довольно?

Христофорский обрадовался и просиял, не умев скрыть своей радости. Баканов подумал: "Он меня надует и не придет в четверг, тем лучше; может быть, он и не мазурик, да есть нечего, шесть рублей ему пригодятся, а переписывать у меня пока еще и нечего. Коли надует, так и слава богу!"

Так с этой мыслью он и раскланялся с Мокеем Трифонычем.

Но Мокей Трифоныч надел в четверг новый галстук и явился к Баканову, как раз к обеду, а именно к двум часам пополудни. Баканов, разумеется, не ждал его.

IV

Но, быть может, вы хотите знать, что за человек этот Баканов.

Это был также феномен своего рода, один из тех немногих купеческих сынков минувшего поколения, которых соблазнила и увлекла слава Николая Полевого. Ему захотелось учиться, но, к сожалению, он начал поздно, а именно не раньше двадцати трех лет и не прежде, как похоронил своего дражайшего родителя, который, кроме псалтыря да Четьи-Минеи, ничего печатного выносить не мог, на всем видел печать антихриста и проклял бы своего Степушку, кабы узнал, что он тайком от него долбит басурманские французские вокабулы.

Жена этого Степушки (он уже был женат) также косо смотрела на его занятия. В книгах она видела только разорение, а во французском языке разврат; но у нее была натура мягкая, довольно податливая, и Степан Степаныч успел настолько перевоспитать ее, что она решилась отдать к французской мадам в пансион одиннадцатилетнюю дочь свою.

Баканов с грехом пополам выучился французскому языку и стал выписывать "Revue des deux Mondes", читал романы только что появившегося на сцену Жоржа Занда, углублялся в Штрауса, изучал социалистов, хотел выработать из себя практического мудреца и выработал средней руки самоучку, удивляющего недорослей всеми модными словами, фразами и выводами того времени, тревожно-жизненного во Франции. Странно было слышать в устах Баканова, человека той среды, в которой никто почти ничего не читал, в которой Пушкин был бы новостью, а курс словесности профессора Давыдова недостижимой премудростью, слышать слова: Кант, Гегель, эстетика, абсолютный дух, пролетариат, эмансипация, сенсимонизм и тому подобное.

В дворянском кругу у него почти не было знакомых (он пробавлялся студентами), литераторов он знал лишь по именам и только к Полевому, перед которым благоговел, лично приносил свои неудачные опыты драм, повестей и рассуждений того времени.

Книгопродавцы московские, в особенности Кольчугин, кланялись ему издали и считали за особенное удовольствие бывать у него в гостях.

Что касается до гостинодворских купцов, они знали только, что Баканов капиталист, что у него чайный магазин на Дмитровке, три лавки в гостином ряду, два дома, дача в Сокольниках и несколько сундуков с серебряной посудой. Про его же начитанность говорили, как про такое дело, за которое накажет его бог, или смотрели на его занятие, как на явное сумасшествие.

Баканов был не без способностей, но уже решительно без всякого дарования. С трагедий во вкусе Кукольника и романов спустился он на проекты, собирал статистические данные и даже писал большую статью о русской торговле на востоке. Проекты эти были переписываемы, рассылаемы и, разумеется, почти никем не читаемы.

Мы застаем в рассказе нашем купца Баканова, перешагнувшего на пятый десяток, уже не мечтающего о популярности, нажившего геморрой и понявшего, что все его творения или будут оценены отдаленным потомством или никем и, несмотря на это, нисколько не разочарованным, не раздражительно-желчным, напротив, таким же, как и был: смиренным и благодушным халатником. Жизнь его пошла ровнее, хоть по временам он и либеральничал по-старому; но так как ни либерализм, ни скептицизм, ни даже атеизм

Степана Степаныча нисколько не мешали ему есть постное, когда жена его Марья Саввишна и дочь Саша постились, или служить молебны, когда этого требовали домашние соображения, то и семейная жизнь его текла ровно весело отпраздновала серебряную свадьбу и еще тише, еще ровнее понесла его к старости. Ни одна прадедое-екая лампада не потухла в их доме, несмотря на десятки атеистических запрещенных цензурою книг, таившихся в шкапах Баканова, как нечто особенно интересное, как такая кабинетная редкость, которую можно только знатокам показывать.

Торговые дела его пошли немного лучше. Он всю жизнь свою вел их спустя рукава, но сама судьба берегла Баканова; у него, во-первых, были такие удивительные приказчики, что если подчас и надували его, то надували по мелочам, по-христиански надували, а это не последнее счастье; во-вторых, у него была жена Марья Саввишна, удивительная женщина! Бывало, зимой, в трескучие морозы, завезет дочь свою в пансион, а сама в теплых сапогах, в лисьем салопе, в капоре отправляется в город, прямо в лавку под No 85, и усядется там, как наседка, где-нибудь в дальнем уголке, за чайным столиком и до самых вечереи, так пьет чай, что инда от нее пар валит; иногда пересматривает, перевернет счетные книги, иногда потчует калачами сидельцев, иногда шутит с ними, иногда ворчит: "Дураки! отбиваете посетителей, никакой сноровки нет, никакого поведения!" Сидельцы, парни богобоязненные, молча ее выслушивали и подобострастно ей прислуживали. Купцы, соседи по лавкам, не раз тыкали Марьей Саввишной прямо в нос своим расфранченными женам. "Вот,-- говорили они,-- Марья Саввишна -- клад жена, лучше всякой бухгалтерии, а вы что? Вы черт знает, что такое!" В хозяйство Баканов также не вмешивался, уверенный, что все будет в свое время по милости Марьи Саввишны: и кулебяки, и блины, и настойки, и наливки, и соленые огурцы, и моченая брусника, и квас, и мед -- словом, все, без чего Баканов и дня бы не прожил, несмотря на всю свою философию. Он сам иногда острит, приступая к какому-нибудь очень сытному завтраку. "А что,-- говорил он,-- кабы у немцев была такая физика, не пошла бы им в голову метафизика". Вообще Баканов почему-то считал себя остряком и подчас любил даже каламбурить.

Дочь его Александра Степановна была также девка добрая, и, когда он говорил ей на неслыханном французском языке:

-- Э бьен, коман аве ву дорми?

Она старалась понимать его и отвечала:

-- Tres bien, rara {Очень хорошо, папа (фр.)}.

-- Аве ву лю сет роман ке же ву донне?

-- Qeul roman {Какой роман? (фр.)}? а, да! да! я начала его читать.

Александра Степановна была далеко не так прытка, как ее отец в юности, и читать много не любила. Читала же больше по доброте своего сердца, для того, чтобы доставить удовольствие своему папеньке. Папенька же воображал, что он ее развивает, и это льстило его самолюбию.

V

Итак, Христофорский в четверг явился к Баканову... Баканов чуть было не сказал ему: "Ну кто ж вас знал, что вы придете!"... Пошел поискать у себя в бюро, нет ли чего-нибудь дать ему переписать... порылся у себя в тетрадях и ничего не нашел. "Ну,-- сказал он,-- в другое время, извините, а благо пришли к обеду, то не хотите ли сперва червячка заморить, чем бог послал. Водку-то пьете ли?"

-- А коли желудочная, то выпью,-- сказал Христофорский.

-- Ну-с, пойдёмте в столовую.

И, запахнувши халат свой, Баканов через ряд комнат, богато, но без вкуса убранных, провел своего гостя в столовую.

К обеду явилась хозяйка дома, Марья Саввишна, в чепце и капоте, дочь ее Саша, или мадемуазель Александрии, как называл ее отец, да еще низенький, коренастый, краснощекий, словно из дерева выточенный, старичок --приказчик из чайного магазина.

Сели за стол, хозяйка разливала суп. Горничная прислуживала. Старичок-приказчик вертел плотно стриженной головой, как будто хотел вывернуть ее из тесного галстука... Александрина оглядывала

Христофорского, находя его похожим на ошипанную птицу. Христофорский сначала сидел вытянувшись, как цапля, потом мало-помалу расшевелился, налил из графина квасу в стакан Александры Степановны. Спросил Марью Саввишну, часто ли она бывает у обедни? сказал, что, когда он был маленьким, то всегда ходил сам на клирос и пел, что у него тогда был дискант, но что теперь дискантом он уже петь не может, потому что у него бас, и довольно хороший бас, но что басом петь он еще не пробовал.

Марья Саввишна посоветовала ему попробовать.

-- Когда-нибудь попробую, -- сказал Христофорский.

Баканов опять завел разговор о книгах, но неудачно: Христофорский отделивался, говоря, что он очень занят службой и что хотя читать его единственное удовольствие, но что он очень занят.

-- А сколько примерно вы получаете жалованья? -- спросил Баканов.

Христофорский покраснел и потупился.

-- Восемь с полтиной, -- процедил он сквозь зубы и как-то в нос; потом, как бы спохватившись, что сказал правду, пуще покраснел и еще ниже потупился.

Присутствующие за столом все, кроме чайного приказчика, заметили смущение бедного Христофорского и почувствовали к нему нечто вроде сострадания; Александра Степановна в особенности поглядела на него с участием. Она была не хороша собой, но большие серые глаза ее светились добротой и глядели ласково. Христофорский, в свою очередь, заметил устремленный на него взгляд девушки, и подумал: "Гм! Я ей нравлюсь... прекрасная девушка!" Все помолчали.

-- Маловато, -- сказал Баканов, -- на орехи не хватит.

-- Я орехов никогда не ем, -- сказал Христофорский с чувством достоинства.

-- А вот мы вас после обеда попотчует...

И действительно, не прошло и четверти часа после обеда и не успел Христофорский в кабинете хозяина трубку выкурить, как та же самая горничная, что прислуживала за столом, явилась с подносом, на котором стояли: тарелка с миндалем, тарелка с пастилой, тарелка с пряниками и тарелка с грецкими орехами. Христофорский взял всего понемножку...

Когда в сумерки он решился расстаться с диваном и проститься с Бакановым (у него, как видно, стало уже проявляться нечто вроде такта), Баканов попросил его в свободное время заходить к нему без церемонии и обещал ему найти работу.

-- Мне надо непременно что-нибудь работать, -- сказал Христофорский, -- я могу уроки давать и готовить к экзаменам, -- это я все могу...

Баканов хоть и не слишком поверил в его всемогущество, но обещал кое-что для него сделать и проводил его до передней.

Пока Христофорский шагал по набережной Москвы-реки, собираясь после сытного обеда к Александровскому саду послушать музыку, в кабинете Баканова произошел следующий разговор:

-- А ведь... этот... как его, Христофорский-то... того, глуповат, хоть и неказист...-- сказал Баканов.

-- На лбу не написано, -- сказал старичок с тем выражением невольного сожаления, с каким обыкновенно говорят люди о предметах, недоступных их пониманию.

-- А что, не предложить ли ему место при моей кладовой, чай, рад будет...

-- При кладовой... нечего сказать, придумали.

-- Ну да... что ж такое? что он дворянин-то! Эка беда!

-- Беды нет, да и находки нет.

-- Так от чего же?

-- Да вы, батюшка, Степан Степаныч, лучше сядьте у окошечка, да и глядите, кто первый пройдет, того и кликнете, да и поручите ему исправлять всякие должности...

-- Ну, что вы говорите, всякий, кто пройдет; ну, а если пройдет генерал-губернатор?

-- Ну и...-- приказчик запнулся и покраснел.-- Я не о генерале-губернаторе речь веду... Какая статья генерал-губернатору по нашей улице ходить... чего он тут не видел, помилосердствуйте! Я говорю, первый голыш, коли пройдет -- голыш!

-- Ну голыш, а если этот голыш -- честный человек?

-- А если мазурик?

-- А если честный?

-- Ах ты, господи ты боже мой! Честный! Да много ли честных-то, помилосердствуйте, Степан Степаныч! Ба-а-тюшка!! Один, другой, да и обчелся: из тысячи, с пальцем девяти не приберешь. Где вы это нашли, чтобы голяк честный был?

-- А к чему же после этого пронизательность-то? Так вы думаете, я и не увижу? Да я на одну физиономию взгляну и все сразу увижу: ведь вот узнал же, что недалек...

-- Да у него и физиономии-то нет, помилуйте.

-- Ну, как нет, у всякого человека есть физиономия.

-- Ну, так вы всякого и позовите, и доверьтесь, и душу свою раскройте, и сундук отоприте, и поверенным сделайте, и в приказчики произведите...--заговорил старичок, разгорячась, как уголек, на который дуют; он стоял перед Бакановым, сложа на брюшке своем маленькие, старенькие руки, приподнявши плечи, и при каждом слове кивая головой.

Баканову было очень приятно, что он раздражил своего пестуна; он принялся ему противоречить и противоречил до тех пор, пока старичок не плюнул в сторону и не замолчал.

А когда он замолчал, то Баканов совершенно с ним согласился и позвал его играть в преферанс, сам третьей с Марьей Саввишной.

Старичок мигом утих, вынул большую круглую табакерку, со скрипом отворил ее, громко понюхал, потихоньку крикнул и пошел, утираясь синим платком, за ломберный стол в другую комнату.

VI

Нечего распространяться о том, как Христофорский сперва редко, а потом все чаще и чаще стал навещать к Бакановым. Они же в то лето оставались в Москве у Красных ворот, потому что, изволите видеть, дачу в Сокольниках, свою собственную дачу, Марья Саввишна решила одной своей дальней родственнице за хорошую цену внаймы отдать; ну, а в другую чужую дачу переезжать ей не хотелось, особенно жаль было покинуть городской сад, куда после обеда выносили тюфяки, клали подушки и куда вся честная компания (у Бакановых вечно обедали гости) выходила полежать под тенью деревьев, покурить, пить зельтерскую воду, иногда и шампанское. Гости снимали там сюртуки и даже галстуки по примеру хозяина, что случалось нередко и в дамском обществе, но дамы или уходили в другой угол сада, или и сами не церемонились. В саду были скамейки, дорожки, цветники с желтенькими цветочками, все больше из роду ноготков да настурций; красные пионы цвели на славу. Малины было много. Из-за темных высоких заборов выглядывали сады соседей; там также иногда слышались голоса, особенно вечером, когда дворовые девушки в горелки играют. В заборах были, разумеется, и щелки, к которым охотники подглядывать смело могли, присев на корточки, приставлять глаза свои, -- словом, сад был московский, хороший сад. Но, как бы мне ни приятно было его описывать, я должен не упускать из виду Христофорского, хоть, может быть, личность его и не слишком интересуется моих читателей.

Давно Христофорский не проводил так хорошо своего времени; он даже как будто пополнел, покрылся лоском. В каком-то поэтическом настроении он себя чувствовал, когда в тиши гостеприимного сада возлегал на кончике ковра, за спиной самого Баканова, особенно если Баканов кликал свою Александрину и она являлась в белом платьице, полненькая, слегка загорелая, и, наклонившись, подносила гостям корзинку с душистой клубникой; Христофорский без зазрения совести глядел на нее страстными глазами, и таким образом нередко приводил ее в смущение.

Но что за девушка была эта Александра Степановна?

Я должен вам сказать, господа, что она была хорошая девушка.

Она была бы недурна собой, если б на круглом изжелта-бледном лице ее был поменьше рот да подлиннее нос и если б около этого небольшого, словно припухшего носика не было бородавки. Если бы вы закрыли всю нижнюю часть лица ее, вы нашли бы, что у Александры Степановы такие глаза, каких немного, большие водянисто-серые, с длинными загнутыми вверх ресницами, добрые, ласковые. Нижняя же часть лица ее, к сожалению, слишком смахивала на бритый подбородок ее белобрысого папеньки. Если взять в расчет недавно отцом ее отпразднованную серебряную свадьбу, надо полагать, что Александра Степановна была уже солидных лет, была невестой, достигшей самой высокой степени девственной зрелости; сама Александра Степановна давно уже считала себя старой девушкой, и, что всего невероятнее, воображала себя таким уродом, что не любила смотреться в зеркало.

Еще в детстве одна тетушка, подозревавшая в ней наклонности к кокетству, потому что она часто глядела в окошко, напела ей про ее уродливость, и, что невероятно, но это так, сознание, что она дурна, что никогда, никому она не нравилась, что никто ее не полюбит, до такой степени сроднилось с ней, что она потеряла всякую надежду выйти замуж, "Уж, стало быть, я плоха,-- думала эта девушка, -- если, при моем состоянии, никто еще, хоть бы на смех, никто за меня не посватался!" Эти мысли придавали ей нечто горько-меланхолическое, и она не раз казалась даже хорошенькой, стоя в сумерки у окна и всем лицом своим задумчиво обратившись к полному, за синим стеклом мерцающему месяцу.

Чем старше становилась Александра Степановна, тем более убеждалась в том, что она несимпатичная, никому не нужная девушка; ни у кого и речи не было о ее замужестве, а между тем она очень хорошо знала, что в кругу ее родных и знакомых -- та была влюблена, другая кокетничала и возбуждала такие страсти, что хоть пожарной трубой заливай; та готовилась под венец, та давно уже была замужем и в 20 лет так уже разнежилась, так раскисла, что еле-еле говорит, еле ногами двигает, одним словом, никого житейский роман не обошел, всех зацепил, а одну ее обошел, одну ее зацепить было не за что. Сколько чужих секретов она знала, скольким помогала по доброте души своей и тайно завидовала. Конечно, этого она никому не высказывала... это была тайна, горьким осадком улегшаяся на дне души ее и только по временам возмущаемая.

Заклучите сами из того, могла ли Александра Степановна не заметить, что Христофорский глядит на нее не так, как другие, так глядит, как будто и в самом деле она ему ужасно нравится.

"Неужто нравлюсь!!-- думала она.-- Вот новости! до сих пор, с малолетства, ни одному еще мужчине не нравилась -- вдруг приглянулась? Скажите, пожалуйста!"

И с этой мыслью входила она в сад и потчевала Христофорского -- то ягодами, то пряниками, то орехами.

Мало-помалу Христофорский решился на комплименты.

-- Как жаль, -- сказал он ей, -- что у вас нет розанов.

-- А вам хочется, чтоб были розаны? Были у нас, да пропали.

-- Очень жаль, что нет, все бы видели, что вы лучше всяких розанов.

Александра Степановна покраснела и отошла: этот пошлый комплимент ей понравился.

"Ведь вот же, -- подумала она, -- нравлюсь же и я кому-нибудь, хоть Христофорскому, да ведь понравилась же... Говорят, глуп; ну, положим, глуп, ну, а если я уж так родилась, что только дураку и могу понравиться, что ж мне делать? Глуп... ну да ведь не глупее же меня... Дурак! плох, ну да ведь не хуже же меня... Будь он умнее, да лучше, может быть, и смотреть бы на меня не стал".

Христофорский был уже вполне убежден, что она только о нем и думает, и на этот раз не совсем ошибался, к сожалению.

VII

Но каким образом Христофорский попал на службу к Баканову? Это случилось очень просто: Баканов как-то осенью проговорился.

-- Без людей, как без рук, -- сказал он кому-то при Христофорском, -- есть у меня кладовая... ну, вот, куда еще всякую громоздкую движимость складывают на сбережение... Чай, знаете? около Мясницких ворот... ну, да как же это вы не знаете? в доме моей жены, что ей достался после дяди, не Алексея Петровича, а Петра Петровича... Еще там такая вывеска на голубом поле золотыми буквами... Дом на дворе... Ну, вот тот самый, про который, помните, говорите, будто никто не нанимает, потому что там, вишь, черти по ночам возьтятся... Действительно, не нанимали... Ну, я сделал кладовую... и ничего-с, черти унялись. Только вот беда: не найду человека, который принял бы эту кладовую под свое ведение... У меня теперь там лавочки чередуются... Неудобно -- надо записывать, билеты выдавать; надо, одним словом, там быть, по крайней мере, до двух часов пополудни. Ну, а они уходят, те не застают... Это подрыв... Я бы и двадцати пяти рублей в месяц не пожалел... дал бы... и квартиру бы дал... и все. А то еще, чего доброго, раскрадут, так еще процесс наживешь... Просто, беда! Ищу такого человека, который бы...

Тут Баканов, обратившись к другим гостям, объяснил, какого он ищет человека и какие будут его обязанности.

Христофорский в это время сидел в углу и молчал. Начала речи он не расслышал, потому что мимо двери прошла Александра Степановна, заглянула в комнату, мимоходом на него взглянула и скрылась. Но конец речи он очень хорошо понял, и ушел домой с бьющимся сердцем. Всю ночь мерещились ему 25 рублей, квартира, дрова, прислуга и просто не давали ему спать. В эту же ночь, как нарочно, в его собственной квартире воняло каким-то кислым мылом, а за перегородкой пищал хозяйский ребенок.

На другой день, рано утром, явился Христофорский к Баканову.

-- Что это вы, ни свет, ни заря?-- спросил его Баканов, утираясь полотенцем, ибо он только что встал и умылся.

-- Я согласен-с, -- брякнул ему Христофорский.

-- Что такое? -- Баканов раскрыл рот и опустил полотенце, поддерживая его обеими ладонями. В его рыхлых, светлых бакенбардах еще дрожали капли воды; белая, рыхлая шея и розовая грудь были раскрыты, шелковый, коротенький халат висел на его плечах, как ряса.

-- Я думал всю ночь, сообразил и согласен,-- повторил Христофорский.

Воображению Баканова представилось что-то смешное; он готов был по обыкновению засмеяться, но Христофорский объяснил ему напрямик, что он согласен взять место при его кладовой, что это место нисколько не помешает ему и в казенной палате получать жалованье, потому что, во-первых, переписывать казенные бумаги он будет и вечером, а во-вторых, потому, что и столоначальник его Сидоренко, Яков Михайлыч, его очень любит и не будет ему ни в чем препятствовать.

Христофорский таким уверенным тоном высказал свое согласие, что решительно озадачил Баканова. Ему уж действительно показалось, что он о чем-то просил Христофорского.

-- Гм! Так вы на это согласны, -- промычал он, отходя к окну и уж окончательно вытерши свою физиономию, -- ну-с мы об этом с вами подумаем.

-- Я, ничего... Я только пришел... так сказать, счел своей обязанностью объявить вам, что я согласен, так как вы хотели давно найти мне работу и так как сама судьба к тому ведет, чтоб я был полезен вам.

-- Хорошо, хорошо! Утро вечера мудренее, или, лучше сказать, вечер утра мудренее, потому что теперь утро, а утром я занят, у меня всегда по утрам есть занятия, приходите вечером.

-- Покорно вас благодарю-с... Очень благодарен вам, -- сказал Христофорский с сияющим лицом.

Баканов, по уходе его, выпил стакан чаю и начал философствовать.

-- Хоть он и того...-- Баканов повертел у себя надо лбом указательным пальцем.-- Хоть и того, а не промах. Надо же и глупости жить на земле, и для дураков есть работа. Ну, какой образованный пойдет ко мне в кладовую за двадцать пять рублей, когда, на что лавочки, и тех иногда одурь берет. Нет, природа знает, что делает, надо только пользу извлекать из этой природы, и если глупость Христофорского на что-нибудь годится, надо и ее к чему-нибудь приспособить. Чем же он глупее каких-нибудь паров, а эти пары работают же! К тому же и то сказать, дай я это место Христофорскому, он будет доволен-предоволен вместо восьми

рублей получать целых двадцать пять; ну, а другому дай хоть сто рублей, так он счастлив не будет. Отчего же мне не осчастливить человека, тем паче, что он не вор и не пьяница. Значит, имеет все шансы на то, чтобы жить трудами рук своих.

Согласитесь, читатель, что все это отчасти очень гуманная философия. Значит, недаром же у Баканова была такая библиотека. У других есть и не такие книгохранилища, и все-таки в голове нет и десятой доли бакановской философии.

VIII

Таким образом, Христофорскому удалось обеспечить на целую, зиму свое существование, променять грязный угол свой на довольно чистую и уютную комнату. К первому сентября он уже был на новом месте. Один из приказчиков Баканова передал ему все счета, список вещам, отданным в кладовую на сохранение, с пометою, когда получены, от кого приняты, на сколько времени и под каким номером; книгу с выданными и невиданными печатными билетами, книгу для записывания получаемых денег, книгу просроченным вещам и тому подобное.

Все это осмотрел Христофорский и, надо отдать ему справедливость, очень хорошо понял, чего от него требуют. В комнате у него была изразцовая печь, кровать, стол, маленький диванчик, несколько стульев, конторка, комод и медный таз с умывальным кувшином на окне. Все это Христофорский привел в порядок; на стол поставил свой ящик и по бокам два подсвечника, табачницу и коробочку со спичками; на окне поместил два своих чубука, один длинный, другой короткий; в комод уложил все белье свое и даже все свое платье, на комод поместил бритвенницу и зеркальце, прибил гвоздь для шинели и для фуражки, велел Трофиму вычистить медный позеленелый таз и послал его к Баканову спросить, нет ли у него каких-нибудь ширмочек. Ему хотелось от глаз посетителей загородить постель свою, на которой красовалась ситцевая подушка и старое стеганое одеяло, весьма невзрачное. Баканов обещал достать ему ширмы.

На другой день Христофорский велел исправить замки в комод и приделать изнутри задвижку. Чуть ли еще не впервые от роду Христофорский так распорядился и видел у себя под начальством дворника, сторожа и, наконец, Трофима, которому, кроме должности сторожа, Баканов приказал чистить Христофорскому сапоги, ставить ему самовар и подавать умываться.

Из его комнаты шла еще дверь в бывший кабинет бывшего хозяина и потом в другие комнаты, превращенные в кладовые; дверь эта была заперта, и Христофорскому целых две ночи чудилось, что за этой дверью кто-то шевелится и шарит. Это, конечно, были мыши. Внизу под лестницей жил Трофим и, как мы уже знаем, имел обыкновение упражняться в музыке: играл иногда от скуки на своей гармонике. Наверху был высокий чердак, и там по ночам носились иногда какие-то звуки. Это, конечно, был ветер. Христофорский слышал, что в доме этом нечисто, ждал ночью появления чертей и лежал на спине, выставив из-под одеяла чуткий нос, насторожа уши и хлопая глазами до тех пор, пока дремота окончательно не одолевала их. Так прошло, две-три ночи, после чего, убедившись, что ничего страшного нет и что черти его не трогают, Христофорский стал спать по-прежнему.

Имея в виду, без больших хлопот, получать в месяц двадцать пять рублей от Баканова да восемь рублей в палате, итого тридцать три рубля в месяц, Христофорский почувствовал, что счастье ему улыбнулось.

И вот какого рода последствия произошли от такого счастья.

Христофорский превратился в барина. Превратившись в барина, он вообразил, что делает великую честь Баканову, согласившись занять у него такое место, которое скорее прилично какому-нибудь мелкотравчатому купцу или отставному писарю. "Баканов это, конечно, будет ценить", -- думал Христофорский.

Чтобы всем показать, что он не простой смертный, он стал спесиво и величаво обращаться со своими новыми подчиненными. Трофима стал приучать набивать себе трубки и подавать себе огонь, и сначала совершенно оседлал этого медведя, хотя этот медведь почему-то думал, что Христофорский не барин, а просто какой-то приказный, что, будь он барин, у него не было бы такой скверной подушки и такого истасканного одеяла.

Потом Христофорский положил себе за правило копить деньги и дрожать над каждой копейкой. Нужда, преследующая его столько лет, развила в нем какую-то лихорадочную любовь к пятам, грошам и

копейкам. Он почти во всем себе отказывал; только от чаю, да от Жукова табаку отучить себя никак не мог. Любимой мечтой его стало накопить триста рублей, сшить себе новые брюки, модный фрак, повязать на шею хорошенький галстучек и пленить какую-нибудь богачиху. Таким образом, цель накопить деньги хоть и проистекала в нем от любви к деньгам, но представлялась ему чем-то вроде средства к достижению другой, уже совершенно мечтательной цели.

От Мясницких ворот до Красных не слишком далеко, если взять в расчет, что "Москва дистанция огромного размера" и что на чужой счет питаться гораздо выгоднее, чем тратить свое жалованье, то и немудрено прийти к заключению, что всю зиму Христофорский не оставлял Бакановых своим посещением. Дело свое он вел недурно, то есть аккуратно, даже переписал начисто какую-то старую счетную книгу, для чего, и сам Баканов понять не мог. Впрочем, Баканов был им доволен; но странно, чем более Христофорский важничал, тем менее Баканов обращал на него внимания, иногда он вовсе не замечал его присутствия, иногда, считая его совершенно домашним, говорил ему: "Этакой ты, братец!" -- или довольно фамильярно над ним подтрунивал. Александра Степановна все более и более привыкала к его невзрачной птичьей физиономии, к его маленьким глазам, устремленным на нее исподтишка с выражением страсти, к его скрипучему голосу и, главное, воображала, что это для нее он так часто, чуть не каждый день, ходит к ним. Иногда, когда Христофорский садился у них в кресла, вытянувши ноги, повесивши нос и, вероятно, ни о чем не думая, она подходила к нему и говорила смеясь: "Перестаньте думать!" Христофорский иногда говорил, что он хотел быть медиком, говорил, что у него было много врагов и ему помешали сделать эту карьеру, что мать его, помещица, умерла и что он сам не знает, что после нее осталось, потому что связан был ужасными обстоятельствами и не мог, никак не мог из Москвы выехать; что одна богатая его любила, но он не любил, и тому подобный вздор. Вот это Христофорский говорил, не пускаясь ни в какие подробности, а так, все какими-то намеками. Вообще он, как калач тертый и уже достаточно жизнью наученный, понял, что казаться несчастным человеком, гонимым судьбой, всего выгоднее в сердобольном доме Баканова.

Марья Саввишна, привыкшая в доме своем видеть всякого сорта людей, была довольна отрицательными качествами Христофорского, то есть что он не мот, по трактирам не шляется, не пьянствует, и, полагая, что он нужный человек для Степана Степаныча, выносила его частые посещения без малейшего ропота; иногда говорила ему "ты": "ну уж, пожалуйста, ты не суйся, когда тебя не спрашивают!", иногда "вы", "пора бы вам, батюшка мой, и восвояси, мы спать хотим". Не было у ней к Христофорскому ни симпатии, ни особенного нерасположения; что же касается до прислуги в доме Баканова, она терпеть не могла нашего почтенного Мокея Трифоньича, в особенности ключница Улита, кума Трофима. Трофим жил когда-то водовозом при дворе Баканова и имел дружеские связи со всей его дворней. Бывало, нет-нет, да и зайдет к куме напиться с морозу чайку вприкуску. Пьет, бывало, чай, стоя у лежанки в девичьей, пьет -- молчит, дует в блюдечко, да нет-нет и заговорит о Христофорском ни к селу ни к городу. "Вишь, боится, что я у него табак выкурю, запирает, невидаль какая, табак. Я махорку курю, не видел я его табаку!"

Потом помолчит-помолчит да и брякнет: "Сахар тоже, куски считает, боится, сахаром его облакомлюсь".

Потом опять нальет себе полное блюдечко, дует, глядит куда-нибудь в угол печки и опять ни к селу ни к городу:

-- Что это за барин, так, название только одно, что барин!

-- Аль больно строг? -- спросит кто-нибудь из дворовых.

-- Да-а! Хочет, чтоб без ваксы сапоги были зеркалом. Нет, шалишь! Не будут они тебе зеркалом, коли ваксы нет. Все собирается сам из какой-то сажи сделать, да и щетки-то порядочной нет, свою потребляю, ей-богу, свою!

Такие толки, конечно, никого из дворовых Баканова, избалованных подачками да подарками, не располагали в пользу Христофорского.

Некоторые из более частых гостей Баканова, а именно, один доктор, Захар Иваныч, большой шутник и даже мастер играть на гитаре, которую летом брал всегда с собой за город, отправляясь на пикник с компанией, скоро заметил, что Христофорский ухаживает за Александрой Степановной, и явно над этим тешился. Молодой купчик Куляпкин, племянник Марьи Саввишны, также немало трунил над ним.

Александра Степановна, по-видимому, сама смеялась, но когда оставалась одна или после ужина уходила в

свою комнату, то думала: "Вот, в кои-то веки полюбил меня человек, и того-то на смех поднимают! как будто досада берет их, что я приглянулась, а ведь, кажется, кому какое дело, ни один из них за мной не ухаживает, только так, язык чешут. Господи! и что им завидовать! Ведь меня за него не выдадут. Он ведь и сам не станет за меня свататься. Он глуп, а, вишь, они умны, да что мне от их ума-то, ни тепло, ни холодно! Нашли себе потеху, вишь, умники! делать-то им больше нечего! Ах, мать Пресвятая Богородица, не успела состариться, а уж глядят на меня, как на старую девку, какого-то старого генерала в женихи сулят!"

Христофорскому же были нипочем, как к стене горох, все эти шуточки, он даже был рад, что на него обращают внимание, хоть иногда и казался обиженным, но это казалось только потому, что лицо его, краснея само собой, принимало какое-то жалкое, сконфуженное выражение.

Между тем Христофорский стал брать у Баканова книги из его библиотеки.

-- Каких же вам? -- спросил его Баканов.

-- Каких-нибудь, я все люблю читать.

-- Ну, читали вы роман такой-то?..

-- Не помню, кажется, не читал, дайте!

Христофорский брал роман, приносил его домой и клал на стол. Иногда, в свободные минуты, раскрывал книгу, где попало, прочитывал несколько страниц, иногда несколько строк и успокаивался, клал книгу на место и думал: "Как это было бы хорошо, если б этот роман я сам сочинил, это было бы очень хорошо!"...

Через неделю относил он этот роман к Баканову, благодарил его, брал другое какое-нибудь сочинение и опять клал у себя на стол.

Таким точно образом в продолжение зимы он перебрал и перечитал множество книг у Баканова, и ни одной из них не зачитал, к великому удовольствию хозяина.

-- Я хочу прочесть у вас всю библиотеку,-- говорил он Баканову.

-- Ну, не скоро вы ее перечтете всю.

-- Непременно, всю перечту, вот увидите,-- утверждал коварно Христофорский, обозревая шкафы.

-- Ну, а хотите, я вам дам логику Бахмана, попробуйте-ка прочесть в одну неделю да понять.

-- Ну это, конечно, должна быть скучная книга, логика, но я ничего не хочу пропускать, Степан Степаныч.

Степан Степаныч в наивности души своей удивился рвению Мокея Трифоныча, хоть и был уверен, что он серьезной книги никогда не поймет, как следует.

Так прошла зима без особенных приключений, кое-какие приключения начались именно с того дня, как случилось у Христофорского маленькое несчастье: прачка потеряла платок. Вспомним начало и пойдём далее.

IX

- Христофорский аккуратно в известное число получал деньги на жалованье сторожей, состоящих при кладовой, и в том числе 5 рублей для Трофима. Но странно, получа эти деньги от Баканова, он не тотчас отдавал их кому следует, а дня два, три, иногда даже и дольше держал их у себя в шкатулке. Для чего он это делал, господь его ведаёт. Когда прачка потеряла платок и проч., жалованье Трофима было у него в кармане. Христофорский, решившись наказать своего слугу рублевым штрафом, полагал, что он вправе это сделать, потому что, никогда сам не покупавши фуляровых платков, он вообразил, что платок его, действительно, стоит не меньше рубля и что он поступит великодушно, если не возьмет за него двух рублей.

Но Христофорский почему-то стал трусить своего губастого слуги: уж слишком дерзко тот стал пялить на него глаза свои. "Черт его знает,-- думал Христофорский,-- что у него на уме. Недаром он все с какими, то подозрительными фигурами за воротами разговаривает".

На другой или на третий день после описанного мной разговора с Трофимом Христофорский пошел в лавочку, купил четвертку Жукова, разменял на мелочь пятирублевую ассигнацию, отсчитал четыре рубля и, когда возвращался домой, сунул эти деньги в руку Трофиму, который попался ему в воротах. "Жалованье", --

сказал он ему отрывисто и как ни в чем не бывало вошел в свою комнату.

Трофим, скривя губы, положил деньги (серебро и медь) на ладонь, поглядел на них и немедленно опустил их в боковой карман нанковых, засаленных шаровар.

Трудно было бы судить по лицу его, догадался ли он, что рубля недостает, или не догадался.

Пошел Трофим к знакомому кваснику, выпил стаканчике квасу, и на его прилавке стал пересчитывать свои деньги, пересчитал и, как ошеломленный, выпучил глаза, потом почесал затылок, но не сказал ни слова, даже не выругал Христофорского.

Христофорский же целых четыре часа сидел у себя на диванчике с трубкой в зубах и ждал появления слуги своего с требованием доплатить ему рубль. Давно он так много не курил. Дым так и ходил вокруг него волнами, но Трофим не являлся до самой ночи; на ночь же пришел, по обыкновению, взять сапоги, взял их и, не сказав ни слова, даже не оглянувшись на барина, вышел.

Это удивило Христофорского. Он подошел к двери и запер ее задвижкой. Потом он снял халат, разделся, лег в постель и уже стал засыпать, как вдруг вскочил.

-- А что, если,-- вдруг пришло ему в голову,-- а что, если этот Трофим ночью возьмет его сапоги, да и продаст за рубль, что тогда?

"Я его тогда! ну что я тогда буду делать? а?"

И вот, озабоченный этой мыслью, он уже надел халат и туфли, собираясь спуститься вниз, удостовериться, дома ли Трофим, и, пока еще время, выручить сапоги свои. Он уже отпер двери, как вдруг услышал ненавистные ему звуки гармонии. Это убедило его, что Трофим дома и не думает о сапогах его, иначе бы не играл на гармонике. Встревоженные мысли его приняли другое направление. "А! Это он назло мне играет! Чтоб я спать не мог, это он мне назло! Скотина! Нет уж, будь я не я, а уж я его выживу, разбойника!"

Трофим, действительно, должно быть, назло, всю ночь наяривал на своем инструменте и выводил такие жалобные ноты, что даже собака не утерпела и начала выть.

Пришло утро.

Сапоги Христофорского не пропали, но досада на Трофима также не пропала в мелочной душе Христофорского, и когда тот, по обыкновению, дует в трубу и осыпаясь трескучими искрами, принес к нему самовар, он сказал ему. "А ты, скотина, вчера опять играл на гармонике. Вот только ты поиграй в другой раз!"

Трофим на это только головой мотнул. Самовар закипел, и волна пара окатила скуластое лицо его. Сделав свое дело, Трофим молча вышел.

На другую ночь Трофим вышел на двор, сел на скамейку, около лестницы. Подле него села какая-то баба (видно, в гости пришла к нему). Ночь была сырая, но тихая и теплая, Москва кругом шумела, как море. Собаки опять начали жалобно выть, Трофим, прижавшись к бабе, опять заиграл на гармонике. Был уже двенадцатый час ночи, Христофорский не спал, он переписывал в тетрадку какие-то стишки для Александры Степановны и выходил из себя: Трофим играл на гармонике.

На другой день утром у Баканова завтракали: приказчик из чайного магазина, доктор и Христофорский. Христофорский пришел раньше всех и передал Александре Степановне тетрадку, которая начиналась стихами Державина:

Хоть все теперь в природе дремлет,

Одна моя любовь не спит;

Твои движенья, вздохи внемлет

И только на тебя глядит.

Приметь мои ты разговоры,

Помысль о мне наедине.

Брось на меня приятны взоры

И нежностью ответствуй мне.

Под этим стихотворением, составляющим как бы предисловие к другим не менее конфетным стишкам, не было подписано имени Державина. Очень может быть, что Христофорскому хотелось, чтобы стихи его казались собственным его произведением. Он же был убежден, что стихи эти окончательно подействуют, в самое сердце поразят предмет его страсти или, лучше сказать, предмет "его корыстной, расчетливой фантазии.

У дураков свой расчет. Дуракам счастье, говорит русская пословица.

Александра Степановна села у окошка и стала читать стихи.

Христофорский, лися перед Марьей Саввишной, был даже как-то особенно весел.

Стали разрезать кулебяку. Гости, подражая хозяину, выпили по рюмке забористой водки: доктор выпил, опрокинув назад свою голову, старичок приказчик выпил, приподняв только брови, Христофорский выпил, как будто только из приличия и поморщился. Все закусили, хозяйка сама подавала гостям тарелки с дымящимися кусками удивительно вкусного и жирного пирога, в соседней комнате шипел самовар, там готовился кофе.

Доктор увидел у Александры Степановны стихи Христофорского и стал их у нее выпрашивать; Александра Степановна не давала их.

-- Это вы сами сочинили стихи? -- спросил доктор Христофорского.

-- Очень может быть, что это и я сочинил,-- с достоинством отвечал Христофорский.

-- Что же, это стишки амурные, разумеется! Ха, ха, ха! Степан Степаныч, поди-ка, брат, сюда: что ты там рассказываешь, попроси-ка Мокея Трифоныча нам какие-нибудь стишки прочесть.

-- А вы думаете, я не умею стихов писать?

-- Он все умеет,-- отозвался Баканов.

-- А на канате плясать вы умеете? -- спросил доктор Христофорского, заливаясь смехом.

Вдруг Христофорский пощупал у себя в кармане, побледнел, поставил на стол тарелку с недоеденным пирогом и, не говоря ни слова, вышел.

Всех это изумило, кроме старичка приказчика, который всегда имел невозмутимо смиренный вид, до тех пор, пока кто-нибудь его самого не затрагивал.

Разумеется, Александра Степановна более всех изумилась мгновенному исчезновению Христофорского.

-- Он обиделся, -- сказала ома, с неудовольствием поглядев на доктора.

Доктор поймал этот взгляд и сказал:

-- Да пускай обижается.

-- Что же это поднимать на смех человека, который ничего дурного не делает! Вы всегда над ним смеетесь.

-- Да коли он смешон!? а вы что за него заступаетесь?

Александра Степановна вспыхнула. Доктор поглядел на нее с лукавой миной и добавил:

-- Ведь это образчик дураков.

-- Дураков на свете нет,-- отозвался Баканов.

-- Как нет?

-- Да так же, что нет!

-- Это вы так думаете?

-- Пушкин так думал. Он всю жизнь свою искал настоящего дурака и никак найти не мог. Он сам это говорил однажды в присутствии Николая Алексеевича.

-- Какого Николая Алексеевича?

-- Ну, да у нас один Николай Алексеевич! Я о Полевом говорю: будто вы и не знаете!

-- Так, по-вашему, Христофорский умен? Ха, ха, ха!.. Удивительный вы человек, после этого! А пирог у вас отличный, Марья Саввишна, честь вам и слава,-- сказал доктор.

Прежде чем кончился завтрак у Баканова, Христофорский, запыхавшись, добежал до своей квартиры.-- Где Трофим? -- спросил он дворника, который отпер ему калитку.

-- Сейчас тут был,-- отвечал дворник.

Быстрее молнии Христофорский взбежал по лестнице. Так и есть! ключ в замке, и замок не заперт! Мысль, что Трофим обокрал его, разом охватила все существо его, он чуть было не закричал: караул. Войдя в комнату, он оглядел ее, бросился под подушку за ключом, отпер комод, пощупал старую фуфайку, в рукаве которой были деньги, вынул их, сосчитал, все было цело. Христофорский перевел дух и успокоился.

"Хорошо, что я рано пришел,-- подумал он,-- как это я не запер двери! Вот был бы с носом-то, кабы меня всего обокрали; хорошо еще, что хватился вовремя".

Посидевши на диване да пожалевши о пироге, вспомнил он об обеде и вышел.

Заперши дверь, он спустился с лестницы. Ему пришло в голову удостовериться, дома ли Трофим. Он заглянул к нему в каморку. Трофима не было. На столе, рядом с сальным огарком, воткнутым в железный подсвечник, лежала гармоника; она первая бросилась ему в глаза, блестя своими серебристыми клапанами.

Христофорский схватил ее, спрятал под шинель и опять поднялся по лестнице. Видит: дверь на чердак отперта; он тихонько притворил ее и, убедившись, что и на чердаке Трофима нет, забросил его гармонику в темный угол за кирпичную стенку, которая шла к дымовой трубе и отделяла большое сорное пространство, не освещенное никаким слуховым окном.

Сделавши это великое дело, Христофорский сошел на двор; лицо его было так красно, как будто он только что был в бане и парился.

-- Никто меня не спрашивал?-- спросил он дворника.

-- Никто!

-- А Прокофий где?

-- Прокофий!

-- Ну да! Черт ты эдакий, Прокофий?

-- Да он тут был. Вон и Трофим идет.

Трофим шел с заднего двора и нес на спине охапку дров, согнувшись в три погибели.

Христофорский, не дождавсь его, быстро вышел на улицу.

Заметно, что подвиг, совершенный им, не только радовал его, но и смущал. Ему не хотелось, чтобы Трофим заподозрил его в похищении гармоники.

Х

Вечер, то есть сумерки застали Христофорского у Бакановых; опишу весь этот вечер, чтобы показать вам, как обыкновенно стали проходить вечера нашего ученого, нашего многодумного купца Баканова.

Баканов сам-третьей сидел за ломберным столом в маленькой комнате, около залы, и играл в преферанс. Он сидел по обыкновению в халате, который он торопливо и как-то машинально запахивал у себя на груди всякий раз, когда приходилось ему сдавать карты. Он сидел на диванчике, сгорбившись, лениво загребал пальцами сданные ему карты, и когда приводил их на своих руках в порядок, подбирая масть к масти, умильно перекашивал лицо свое то в ту, то в другую сторону. "Эка мерзость! эка! эк его! -- говорил он, если карты были плохи, или говорил: "Куплю" -- и брал прикупку с видом коварного сомнения, поглядывая на руки

играющих.

Против него сидел старичок -- приказчик из чайного магазина. Этот смиренный и тихонький на вид человек играл с лихорадочным волнением, прятал карты под стол, беспрестанно оглядывался, хохотал и выпускал разные смешные восклицания, когда игра была на его стороне, и как-то ершился, когда проигрывал, делался молчалив и подозрителен.

Третий сидел за столом направо от Баканова, отражая в большом зеркале стриженный высокий затылок свой; это был, по-видимому, немец, и играл с таким глубокомыслием в лице, как будто решал какую-то трудную математическую задачу. Он беспрестанно ошибался, но видел свои ошибки и только рот раскрывал, как бы от великого изумления, когда Баканов, прищелкнув пальцами, подскочивши на своем диванчике и тряхнувшись всем своим туловищем, выхватывал карту и поражал его.

Старичок ремизился, был красен, как свекла, и, по своей привычке вертеть головой, не мог не заметить, что за ним сидит Христофорский и смотрит ему в карты.

Давно уже он косился на Христофорского, наконец не вытерпел.

-- Пожалуйста, пожалуйста, батюшка,-- заговорил он,-- не сидите у меня под рукой, сделайте такое ваше одолжение.

-- Да что он тебе? Мешает, что ли? -- возразил Баканов.

-- Я вам, кажется, совсем не мешаю,-- с достоинством отозвался Христофорский.

-- Не могу-с, я не могу-с! Вы меня извините, батюшка, Степан Степаныч. А играть я не могу-с! Что хотите со мной делайте, когда в карты заглядывают, да замечания разные делают, да сбивают, не могу-с! это как вам угодно-с.

И старичок положил на стол карты.

-- Да что ты, помилуй, чем он тебе мешает? Разве он тебе замечания делает?

-- Я знаю, что он замечания никакого не делает, а воля ваша-с, Степан Степаныч, мешает, не могу-с.

-- Чем я мешаю, что такое вы говорите? -- вступился за себя Христофорский.-- Я могу не только вас, могу кого хотите научить в преферанс играть.

-- Не-е-ет-с! Нет, уж извините! Нет, мне таких учителей не надо-с. Нет, бог с вами! Помилосердуйте!

И старичок сделал движение, в котором заключалось явное намерение совершенно бросить игру и удалиться.

-- Мокей Трифоныч, отойди, братец, сядь вот там, или поди, никак в гостиной моченые яблоки, а не то бруснику подали. Да скажи Марье, чтобы мелков подала.

Христофорский встал и гордо посмотрел в плешь старика приказчика.

В сумерках, в зале встретилась с ним Александра Степановна и подала ему выглаженный, сложенный и даже вспрыснутый духами шелковый носовой платок.

Христофорский сконфузился: это был тот самый платок, за который он распек и оштрафовал Трофима.

Александра Степановна стояла и, казалось, любовалась его смущением.

Он взял ее пухленькую ручку и подобострастно вlepил в нее три поцелуя, из которых последний был из числа самых горячих.

Так как Александра Степановна, по-видимому, была очень рада изъявлению его благодарности, то Христофорский окончательно бы впился и губами и носом в ее руку, и добрейшая Александра Степановна не решилась бы вырывать ее у своего тайного и несчастного обожателя, но послышался голос Баканова:

-- Александрии?!

-- Что, папа? Перестаньте, Мокей Трифоныч... Не за что, не за что... Что вам, папа?

-- Вели-ка, пожалуйста, кваску подать, смерть что-то пить хочется, да уж и свечей пора.

-- Истинно, что пора,-- отозвался приказчик, уже успокоенный.

-- Да скоро ли там чай?

-- Сейчас, папа!

И Христофорский, вслед за Александриной, последовал в гостиную.

В гостиной он застал Марью Саввишну; она сидела в креслах и разматывала шерсть; моток был распялен на спине другого кресла, стоящего к ней задом.

У окна стояли закрытые пальцы Александры Степановны.

-- За что это изволили вы благодарить ее? -- спросила хозяйка Христофорского.

-- Мой платок-с, носовой, я забыл совершенно случайным образом, мой шелковый платок они изволили вымыть и даже выгладить.

-- Не сама мыла, не сама выгладила,-- отозвалась девушка.

Христофорский усмехнулся в нос.

-- Все равно я должен благодарить, что вы о нем беспокоились, тем более, что я никак не ожидал.

Александра Степановна скрылась, Христофорский сел возле Марьи Саввишны. Марья Саввишна не церемонилась с теми, к кому привыкла, и, не говоря ни слова, перенесла на его руки моток; Христофорский растянул его, и так как в доме Баканова ему не в первый раз случалось так служить хозяйке дома,-- продолжал улыбаться.

-- Я что-то хотел вам сказать, Марья Саввишна,-- начал он, отводя с мотком руки в сторону.

-- Ну говори, коли хотел сказать, да руки-то держи выше. Эх! и этого-то не умеешь сделать, ну куда ты после этого!..

-- Я очень недоволен Трофимом, Марья Саввишна. Марья Саввишна продолжала мотать.

-- Это мошенник,-- прогнул Христофорский, отводя моток в правую сторону -- я очень боюсь, что он меня...-- продолжал Христофорский и отвел моток в левую сторону,-- когда-нибудь обокрадет или что-нибудь сделает. Хочу просить, дайте мне кого-нибудь другого.

-- Ну какого еще тебе другого,-- сказала Марья Саввишна, наматывая клубок свой,-- он у нас всякую службу справлял, и я, окромя усердия, никогда ничего за ним не видала, ни воровства, ни пьянства. Нешто он у вас как-нибудь испортился. Господь его ведает.

-- Он удивительно как испортился,-- отвечал Христофорский, поглядывая, скоро ли кончится проклятый моток.

-- Ну, скажите об этом Степану Степанычу.

-- Я непременно об этом, при случае, хочу сказать Степану Степанычу (моток пошел направо). Ибо я ничего не могу делать по вечерам (моток пошел налево), даже спать не могу. Сядет за дверью (моток пошел направо) и начнет играть на гармонике. Собаки (моток пошел налево) -- собаки выть начнут (моток пришел к концу, к немалому удовольствию Христофорского) -- собаки начнут выть, а кому же это приятно, когда собака воет. Это дурная примета, это, как вы хотите, а примета! Я ж не люблю, когда я что-нибудь приказываю, и меня не слушают.

Марья Саввишна непременно бы приняла участие в Христофорском, если б то нерасположение, которое возбуждал он в ее домашних, незаметным образом не сообщилось и ей и не заставило ее относиться к словам и поступкам Христофорского с некоторым предубеждением. Она почему-то уже не совсем ему верила и не совсем была довольна им, хотя, в сущности, и не могла бы ни к чему придраться, как бы ни разбирала его поведение.

Разговор о Трофиме, конечно, продолжался бы, если бы в передней, а потом в зале, не послышался скрип сапогов, сопровождаемый шелестом женского платья.

"Кого бог несет?" -- подумала Марья Саввишна; вошли гости. Это были: Куляпкин, молодой, лет 22 купчик,

одетый по последней моде, завитой, с необычайно развязными манерами, и сестра его Паша -- девушка лет осьмнадцати, с плутовскими карими глазками.

-- Здравствуйте, здравствуйте!-- весело отозвался Куляпкин, размахивая шляпой. -- Вашу ручку, почтенная тетушка Марья Саввишна. А где Александра Степановна? Здравствуйте, вашу ручку,-- начал было он, подходя к Христофорскому, но отшатнулся, и сделал гримасу, и сказал: -- ай! чуть было за даму, Мирикризу Кирбитьевну вас не принял. Фу ты, канальство!.. Какая непростительная рассеянность! Велите подать свечи, Марья Саввишна! -- Все засмеялись -- даже Христофорский.

Внесли свечи.

-- А где же Степан Степаныч? Ну, верно, что-нибудь эдакое сочиняет,-- продолжал неугомонный Куляпкин, повертывая в воздухе пальцами,-- это хорошее препровождение времени. Я бы с удовольствием отдал свой старый халат за счастье быть сочинителем... Сестра, рассказывай, где мы с тобой сию минуту были.

-- Да что рассказывать? есть что рассказывать? нигде не были,-- отвечала Паша немного охрипшим голосом.

-- Нет, это я расскажу, надо вам сказать, что у сестры моей была соболья муфточка, вдруг у нас с нею очутилась кунья. Ну вот мы и поехали с ней в магазин совершить новое превращение, кунья опять превратилась в соболью... и зачем, кажется, брать с собой муфту, когда весна!

-- Да ведь я же брала переменить подкладку... Ты все врешь, да к тому же ты, верно, забыл, какой был холод -- так руки зябли, что ужас. Пойдем, Саша. Экой мой братец -- враль, чуть-чуть меня не выдал.

-- А что?

-- Как ты не понимаешь! Экая невинность! Разве я тебе не говорила про моего Костю?.. Ну вот... всякий раз, как приеду в их магазин, всякий раз по забывчивости и обмениваемся муфтами. Он такой душа, такой милый!.. первый эту шутку выдумал. Подложить муфту, по цвету точно моя, ну, я возьму будто нечаянно и, разумеется, сейчас же найду в ней записку: понимаешь, как это просто. А ты, неужели ты все еще ни в кого не влюблена, невинность!

Александра Степановна покраснела, тревожно поглядела на мать, скользнула взглядом по лицу Христофорского и отвечала:

-- Ни в кого!..

-- Так-таки ни в кого?

-- Мое время прошло,-- шепотом отвечала Александра Степановна.

-- Ах, какая старуха!-- чуть не вслух воскликнула молоденькая Куляпкина.

Пока происходил этот интимный разговор, Куляпкин подсел к Христофорскому, Марья разносила чай, ром и сливки; за ней мальчик носил корзинки с кренделями и с печеньями. В зале же, уже освещенной двумя свечками, слышался голос старичка приказчика.

-- Нет! Не-е-ет-с! Эдак, батюшка, не играют, эдак-с не играют! -- и голос Баканова, который, по-видимому, его всячески успокаивал.

Но пока горячится краснощекий старичок, скажу несколько слов о молодом Куляпкине, хоть он и не играет никакой роли в моем рассказе, или лучше сказать, постоянно бывая у Баканова и видя Христофорского, играл одну и ту же роль очень тонкого задиралы и насмешника.

Куляпкин принадлежал к тому разряду молоденьких купчиков, которые как будто положили себе за правило во всем резко отличаться от своих почтенных батюшек (очень может быть, что такого рода сынки бывали и в дворянском роде при Петре и Екатерине первой) -- отличаться во всем, кроме образования: он поражал всех своей подвижностью, юркостью, франтовством совершенно особенного рода, думал, что светскость заключается в развязности, и в своем кругу довел эту развязность до последней степени нецеремонности; в гостях он то бросался на диван, то вертелся на креслах, то, разговорившись, быстро наклонял свою голову к плечу какой-нибудь полногрудой собеседницы, вертел руками у себя под носом, умел вдруг и неожиданно на какую-нибудь Любу или Надю покосить глаза или подмигнуть, слегка скривя улыбающийся рот. И, можете представить, все это в нем чрезвычайно нравилось в тогдашнем женском купеческом обществе. За ним еще

водилась одна особенность: он прислушивался ко всевозможным странным, своеобразным купеческим выражениям и сыпал ими как бы на смех своему почтенному сословию; у него же, несмотря на все его недостатки, была память, наблюдательность и при этом постоянная охота над кем-нибудь трунить или кого-нибудь передразнивать, он мастер был рассказывать и про Наполеондру, и про турецкую принцессу, у которой во всю щеку лицо, а под носом румянец.

Как бы назло патриархальности, преловко волочась за хорошенькими купчихами, он рассказывал сестре своей о своих успехах, посвящал ее в тайны любовных интриг своих и, таким образом, являл собой пример редкого братолюбия, а сестра его, Паша, только что вышедшая из пансиона, несмотря на то, что осуждала резкие манеры своего братца, была не только дружна с ним, но уже и настолько опытна, чтобы помогать ему, требуя, разумеется, и от него такой же, в подобных случаях, братской помощи.

О молодых Куляпкиных больше, как кажется, и распространяться незачем, послушаем лучше разговор в гостиной Бакановых.

-- А что? -- мешая в стакане с чаем ложечкой, спрашивает Куляпкин,-- если только это не нескромный вопрос, скоро ли г. Христофорский напишет стишки, которые, как кажется, обещал Александре Степановне.

Христофорский усмехается.

-- А разве он пишет стихи? -- спрашивает Паша Куляпкина.

-- Это пустяки стихи писать,-- говорит Христофорский.

-- А как вы думаете, кто лучше умеет стихи писать, Пушкин или Булгарин?

-- Это пустяки стихи писать,-- повторяет Христофорский, избегая ответа,-- ибо стоит только хорошенько приняться.

Паша Куляпкина фыркает.

Марья Саввишна смотрит на Христофорского так, как бы желает сказать: экой детина уродился, все умеет делать!..

Александра Степановна сидит, немного потупившись.

-- Ну, чему вы смеетесь, чему вы смеетесь,-- возражает Куляпкин на смех сестры своей.-- Неужели уж так-таки, кроме Пушкина, у нас никто и писать не в состоянии? Я убежден, и совершенно убеждаюсь, что, влюбись в кого-нибудь г. Христофорский, храм сердца его раскроется, и оттуда польются стихи, да такие стихи, что вы растаете.

Христофорский молчит и покрывается румянцем; он не знает, как понимать ему слова Куляпкина.

-- Не правда ли, Саша,-- говорит Паша на ухо Александре Степановне, -- Христофорский глуп.

-- Может быть... Впрочем, он нарочно так прикидывается, чтобы смешить, иногда он очень рассудителен, -- отвечает шепотом Александра Степановна и смеется, чтобы скрыть свое смущение.-- "Боже мой,-- думает она,-- нет-то ни одного человека, который бы над ним не тешился! Нужно же терпение, чтобы все это выносить! Впрочем, слава богу, он обидчив, это я заметила".

-- Что вы тут толкуете? -- спрашивает Степан Степаныч, входя в комнату и подпоясываясь.-- Ты тут вечно, как приедешь, начнешь плести турусы на колесах.

-- Что вы, дядюшка, помилуйте! -- возражает Куляпкин. -- Какие турусы! Мы говорим о поэзии, о по-э-зи-и! Какие же это турусы?

-- Сам ничего не смыслишь, а туда же! Ну, что ты смыслишь в поэзии?

Христофорский усмехается, Куляпкин складывает руки и обращается к Баканову.

-- А вы так думаете, что я не смыслю?

-- Так-таки и думаю.

-- И вы... вы это думаете?

-- Ну, да, думаю.

-- И это вы не шутя думаете?

-- Не шутя. Что пристал!

-- Не шутя... а, чему же вы смеетесь? Ведь вот сейчас и видно, что шутите. Эх вы, поговорил бы я с вами, да вот чай несут. Мокей Трифоныч, почтеннейший, позвольте мне в ваш стакан немножко ромку подлить, -- и, не ожидая ответа, он бухнул в стакан Христофорского порядочную дозу коньяку.

Христофорский сконфузился, даже вспыхнул.

-- Я с ромом чай никогда не пью,-- сказал он,-- я даже со сливками никогда не пью.

И он поставил свой стакан обратно на поднос улыбающейся горничной.

-- Пойдем, Паша, в залу,-- сказала Александра Степановна,-- да, ради бога, вызови сейчас как-нибудь Мокея Трифоныча. Твой брат уж очень вольничает, того гляди опять выйдет история.

-- Неужели за такие пустяки?

-- Пожалуйста, вызови.

-- Мокей Трифоныч, подите-ка сюда! -- сказала Паша.

Христофорский вскочил и вышел за ними в залу.

-- Где вы достали такого дурака? -- заговорил Куляпкин вполголоса.

-- Ну, да ведь не всем, же быть такими умниками, как ты, -- отвечал Баканов.

-- Опять, опять шутки, почтеннейший Степан Степаныч.

В зале же происходил следующий разговор:

-- Вы зачем нынче утром ушли, даже пирога не доели -- и вдруг ушли! Как это вам не стыдно!

Христофорский хотел было откровенно сказать на это, что он забыл в замке ключ, испугался, что Трофим или кто другой его обокрадет, и побежал домой, но Александра Степановна, не дождавшись его ответа, продолжала:

-- Доктор пошутил, а уж вы сейчас и обиделись. Конечно, и ему так дерзко и так глупо шутить не следует, всякий благородный человек может за такие вещи обидеться!

-- Да...-- сказал озадаченный ее словами и как бы просветленный ими Христофорский.-- Доктор всегда меня обижает, я мог бы сам ему ответить, но предпочитаю лучше уходить; я, действительно, Александра Степановна, был очень обижен, ушел оттого, что доктор, так сказать, позволяет себе; я этого не люблю, потому что всегда был в хорошем обществе, и если доктор опять придет, я опять уйду.

В эту минуту дверь из передней отворилась, и вошел доктор.

Христофорский остановился как вкопанный, даже рот разинул, он был и сам не рад последним словам своим, но они были сказаны, и он смутно понял, что делать нечего. Ему надо уйти, чтобы показаться чем-то особенным в глазах Александры Степановны;

Доктор подошел к барышням и стал с ними любезничать, взял Пашу Куляпкину за пульс и сказал: -- ого!

Паша начала с ним кокетничать, Христофорский взял со стола свою фуражку, вышел в переднюю и, надевши там калоши, вышел на улицу.

Доктор не обратил на это ни малейшего внимания.

Александра Степановна почему-то осталась довольна поступком Христофорского. Она вообще не любила, чтоб он был у них при Куляпкиных.

В 9 часов вечера, когда вышел Христофорский от Бакановых, было уже темно на улице.

Христофорский, отойдя несколько шагов от ворот, остановился. Долго стоял он, как столб, немножко на сторону нагнувши голову -- очевидно, что он размышлял. Воротиться ему или идти домой? Влюблена в него или не влюблена Александра Степановна? Тут он вынул из бокового кармана шелковый платок, отданный

ему Александрой Степановной, приложил его к носу -- и убеждение, что он любим безумно, любим пламенно, проникло до мозга костей его. Куда же идти? еще рано,-- зайду к моему сослуживцу Стуколкину -- он даст мне совет, что мне делать в этом случае. Он дока и поможет мне -- непременно поможет.

Так он решил и отправился к Сухаревой башне искать квартиру Стуколкина; он же раз был у него с бумагами -- стало быть, найти можно, только если не переехал.

Стуколкин был дома; он сначала взбесился на свою горничную (она же и кухарка), зачем она впустила к нему Христофорского, даже не вытерпел: оставил гостя у себя в спальне (она же и кабинет) и пошел на кухню, нашел там свою горничную и вытаращил на нее глаза свои. Потом стиснул зубы, ущипнул ее за руку и пробормотал: "Ты опять не доложила, ты опять, опять! Вот, погоди ты, что я с тобой за это сделаю!" -- Бледная, получахоточная горничная с ужасом и мольбой посмотрела в грозные очи своего барина, на его сине-багровый нос, на его белые зубы, на все мясистое, разгневанное лицо его -- и не смела оправдываться.

Пригрозивши своей горничной, Стуколкин, отдуваясь, обратно вошел в свой кабинет.

-- Зная все ваше ко мне расположение, истинно родственное расположение,-- начал говорить ему Христофорский,-- я зашел к вам, Осип Осипович, поговорить с вами.

Стуколкин надел на голову ермолку, сел против него у стола и стал на него смотреть с выражением неприязненного выжидания. "Вот попробуй-ка только ты у меня денег попросить, шельмец ты эдакий, дам я тебе денег, -- думал он, -- дам я тебе родственное расположение!".

-- Зная ваше родственное ко мне расположение,-- продолжал гнусить Христофорский с таким невозмутимым спокойствием, как будто был вполне убежден в глубокой симпатии к себе Стуколкина,-- я решился прибегнуть к вам за помощью.

Стуколкин пригнул голову, как бы вслушиваясь, и, поглядев на него исподлобья, спросил:

-- А позвольте спросить, за какой это помощью в десятом часу ночи вы изволили ко мне пожаловать?

-- Вы, по доброте вашего сердца, я уверен, мне поможете.

"Я те помогу -- черт ты эдакой!" -- подумал про себя Стуколкин. Он был страшно зол на своего посетителя, ибо расположен был остаться дома и любезничать со своей горничной. Не приди Христофорский, была бы сцена самая нежная.

-- Дайте мне совет, Осип Осипович.

-- А! Совет! Гм! а какой это совет? -- позвольте вас спросить.

-- Да вот какой. В меня-с влюблена одна купеческая дочка: как вы советуете, написать ли ей прежде письмо или прямо идти к ее отцу и свататься,-- хоть я и уверен, что он с радостью за меня отдаст дочь свою... Только, так как я знаю, что вы, в этих делах человек опытный, так сказать, всегда в этих делах успех имеете, то я и пришел с вами поговорить, если только вы не рассердитесь.

Выслушавши до конца Христофорского и узнавши из слов его, что Баканов чуть-чуть не миллионер, что у него одна дочь и что дочь эта без ума от Христофорского, Стуколкин почесал у себя затылок, сдвинул ермолку на сторону и подумал: "Чем черт не шутит! чего доброго, пожалуй, выкинет такую штуку, что женится, будет богат и наплюет на нас на всех прежде, чем мы на него наплюем. Вот ты и знай!" На широком лице его показалась улыбка; суровые глаза навывкате покрылись влагой и поглядели на Христофорского действительно с какой-то родственной нежностью, хоть и мелькало в них нечто вроде скрытого недоверия.

-- Вы,-- начал Стуколкин, упирая в него глаза свои и в то же время снисходительно улыбаясь,-- вы не врите, потому что я никому шутить с собой не позволю.

Христофорский почувствовал в себе силу глаз его и нежность улыбки, он покраснел и побожился, что не шутит.

Стуколкин закусил губу и замолчал.

-- Валяйте плеча, куйте железо, пока оно горячо: это главное, не робейте, толцые и отверзится,-- начал он голосом, не допускающим возражения,-- сначала пишите к ней и у нее просите согласие. Нежным же эдаким

вздохам, намекам, да там эдаким всяким любезностям не верьте! Все это вздор! Судя по всему, что вы мне говорили, она уже не молодая и не совсем красивая, рада будет этому случаю,-- ну, и куйте железо, пишите к ней,-- и вот, когда получите ее собственное согласие, тогда идите к ее папеньке и... когда женитесь, и когда... Гм! Я, хотите, кстати вам и письмо сочиню, такое письмо, что, верьте вы богу, она с ума сойдет. Только я не философ, вы это знаете -- за письмо я возьму с вас взяточку,-- я ж вам так дело обделаю, что вы будете человек богатый и далеко пойдете.

-- Я тогда, Осип Осипович, тысячи не пожалею: что мне тогда тысяча! -- И Христофорскому действительно представилось, что тысяча вздор, если только у него будут сотни тысяч -- и в то же время какой-то бесенок нашептывал ему на ухо: обещаю хоть четыре тысячи, ведь к присяге не приведут тебя -- можешь и надуть.

-- Тысяча, гм! Не мало ли? Впрочем, если вы такой скупой,-- пожалуй, идет: по рукам! -- сказал Стуколкин.

-- Если поможете, по рукам! -- сказал Христофорский.

-- Я вам сочиню письмо, вы его перепишите, и...

Тут Стуколкин, как человек быстрой пронизательности, смекнул, что может сейчас же испытать, не врет ли Христофорский.

-- Вы его перепишите, мы его запечатаем. Вы напишите адрес, и завтра чуть свет я сам снесу его и отдам горничной или попрошу дворника передать его барышне, разумеется, за это я заплачу дворнику, ну да уж это мое дело.

-- Я, пожалуй... я на все согласен... Осип Осипыч. "Не врет!" -- подумал Стуколкин,-- ну-с; теперь я начну сочинять письмо, а вы посидите. Вон сядьте на этот диван. Это у меня и диван и постель. Я вам после когда-нибудь покажу, как это я устроил.

-- А нет ли у вас чего покурить?

-- Была где-то тут папироска, только черт ее знает, кто ее взял. Я сам, знаете, не курю; голова с табаку у меня кружится; крови много, знаете; боюсь, когда-нибудь кондрашка хватит. Ну да теперь не о том речь... Кондрашка так кондрашка! А вот мы теперь такую вам цидулку сочиним, что...

Стуколкин сел к своему письменному столу; ермолка слезла ему на затылок; широкий, мясистый лоб его, озаренный свечкой, пришел в волнообразное движение. В бумаге и перьях у Стуколкина недостатка не было; нужно было думать об одном --с чего начать? И вот стал он припоминать все любовные записки, которые он когда-то писал, перехватывал или получал,-- а получал он их немало с Кузнецкого моста, с Трубы и Плющихи, и недаром в казенной палате считали его чем-то вроде Дон Жуана. Об его похождениях знал даже столоничальник Яков Михайлыч, добродушнейший из добродушнейших смертных.

Пока Христофорский сидел, вытянувши ноги, и мечтал, Стуколкин, коренастый и жилистый, сгорбил над четвертушкой казенной бумаги и писал:

"Александра Степановна!

Мое сердце не лжет; и если только вы не коварное существо -- вы меня любите. Знайте, божество мое, что я люблю вас так же безумно и пламенно. Решаюсь просить руки вашей. Да или нет? Вознесите меня на высоту райского неземного счастья или погрузите меня в бездну отчаяния. Если вы согласны пить со мной чашу жизни, я на днях явлюсь к вашему батюшке (слово "батюшка" Стуколкин вымарал и написал сверху "родителю"), к вашему родителю, и буду просить его подтвердить ваше согласие и осчастливить меня вашей рукой. В ваших руках жизнь моя и смерть, ибо с тех пор, как я увидел вас, я лишился сна, аппетита, и только брежу вами. Ты мой ангел, мой идеал, моя богиня. Пленный вами, падаю к вашим ногам и говорю вам: сжальтесь над несчастным и разрешите мои тяжкие сомнения. Теряю рассудок мой и жду услышать ваш ответ, лично или письменно. Остаюсь

ваш навеки

Мокей Христофорский".

Подбирая не без труда все эти фразы, Стуколкин сам над ними мысленно тешился, он был глубоко убежден, что, кроме этих фраз, ничего не нужно для того, чтобы заставить сердце любой московской девицы забить

тревогу, загореться и сжалиться. И что, не будь он Осип Стуколкин, никогда бы Христофорский не сумел пустить в ход такого зажигательного брандера. "Глуповат! сильно глуповат!" -- думал про него Стуколкин. Впрочем, заключил он мысль свою:-- "видно, еще не очень глуп, что пришел ко мне за помощью".

-- Ну, что-с?-- спросил Христофорский.

Стуколкин молча перечел черновое письмо и посмотрел на Христофорского, потом опять взглянул на письмо и потом опять на Христофорского.

-- Написали?

-- Гм! Слушайте.

Стуколкин оглянулся на дверь, поправил на голове ермолку и стал читать таинственным голосом: "Александра Степановна!

Мое сердце не лжет, и если вы не коварное существо-- вы меня любите". Хорошо так начать?

-- Это очень будет хорошо,-- согласился Христофорский, щуря от удовольствия глаза свои.

-- Не врет! -- подумал Стуколкин и дочел все письмо.

Христофорский остался совершенно доволен им, сел на место Стуколкина и начал переписывать на почтовой бумаге его. В это время Стуколкин ему услуживал, подвигал к нему чернильницу, спрашивал, хорошо ли перо, не надо ли починить, указывал, где лежат облатки, даже не утерпел сам взять коробочку с облатками и выбрал из них самую красивую, розовую, с каемкой. Одним словом, к будущему богачу он невольно почувствовал родственное расположение.

Когда письмо было переписано, запечатано и надписано, Христофорский рассыпался в благодарностях, просил Стуколкина сохранить тайну, и проч. и проч.

-- Уж надейтесь на меня, как на каменную стену,-- сказал Стуколкин.

-- Я это очень знаю и ценю,-- сказал Христофорский.

Наконец, Стуколкин, шлепая туфлями, проводил его чуть не до ворот.

Христофорский исчез во мраке ночи, а Стуколкин, воротившись в свою спальню, принялся на чем свет стоит ругать Христофорского. "Ну кто бы мог подумать, что эдакий дурак... это эдакому свинье такое счастье! Ни кожи, ни рожи! Да еще и сам письма сочинить не может. Тьфу! А ведь женится! Ну, и она хороша -- эта Александра Степановна! Ну, для чего она за него выйдет?.. Для того, чтоб за нос его водить. Да я у него отобью ее, вот только попробуй он -- женись! Ей-богу, не будь я Стуколкин, если я не отобью у него эту Александру Степановну, и не будь я Стуколкин, если она не озолотит меня! Малашка, стели постель. Покажи, где я тебя ущипнул?

Малаша, глядя ему в глаза и как бы не смея ему противоречить, бледная, обнажила бледную руку.

Стуколкин припал губами к ущипанному месту, и затем всю ее привлек к себе своими широкими лапами.

Она -- чужих господ девушка -- не имела сил ни возражать ему, ни сопротивляться.

XII

За час до полуночи воротился Христофорский домой.

Люди такого громадного ума и таких гениальных способностей, как Мокей Трифонович, редко бывают рассеянны, но сцепление маленьких приключений совершенно свернуло ему голову. Спрятанная гармоника к война с Трофимом, найденный платок, за который и деньги уже вычтены, и опять-таки война с Трофимом, Александра Степановна, ее несомненная страсть к нему, и война с доктором, неожиданное появление доктора в зале у Бакановых и его собственное исчезновение из этой залы, для него самого неожиданная способность обижаться, открытая в нем Александрой Степановной, и опять-таки доктор, о котором он и не думал и которому пришлось вдруг показать свою ненависть, уйти и даже отказаться от ужина, -- все это вместе взятое сделало его до того рассеянным, что он из передней Бакановых унес чужие калоши, и именно калоши Куляпкина. Все время калоши эти жали ему ноги, а он думал, что у него новые сапоги и еще не разносились,

Стуколкин, его соучастие, письмо к Александре Степановне, все это еще более расшевелило мозги его и увеличило рассеянность. Он не заметил, кто ему отпер калитку, не спросил, дома ли Трофим, машинально поднялся на лестницу, снял шинель, сбросил калоши, зажег свечу, заперся и стал раздеваться.

Раздевшись, он выкурил трубку, потом осмотрел на своих ногах мозоли, наконец, лег и собрался заснуть, перебирая в голове всякую всячину. Так ветошник перебирает собранные им тряпки и любит на красивые лоскутья, бог весть каким ветром занесенные на улицу, с той только разницей, что ветошник не рядится в свои тряпки, а Христофорский с самоуслаждением наряжался в них и воображал себя героем,

В эффекте письма он не сомневался, не сомневался, что Александра Степановна будет очень рада его предложению, и уже воображал себя едущим в коляске: подле сидит жена его в салопе, а у него бобровый воротник подпирает уши. "Будет великолепно!" -- думал Христофорский.

"Зачем только я связался с этим Стуколкиным?" -- продолжал думать Христофорский, но тут, конечно, ему следовало бы сознаться в маленькой подлости. Ему хотелось перед своим начальством похвастаться своими успехами, своим намерением и тем будущим, которое может ожидать его; но как ни был иногда подловат Христофорский, он этого не сознавал, напротив, считал себя гордецом первой степени.

"Как жаль, -- думал он, -- что я предоставил Стуколкину право написать ей письмо. Напиши я сам, было бы гораздо красноречивее, кто ж лучше меня может написать! Но... что же делать! я должен был доставить это удовольствие помощнику нашего столоначальника. Он такой сердитый, что я очень рад, что он принял во мне такое горячее участие!"

К часу ночи он стал засыпать, но все еще с боку на бок поворачивался, и так упирал ноги в задок кровати, что она трещала.

Счастливого смертного уже бог Морфей принимал в свои объятия!..

Вдруг он вздрогнул, упираясь руками в матрац, поднял голову и перекошил по направлению к двери нос свой.

Кто-то входил на лестницу и шарил руками.

Христофорскому вдруг вообразился Трофим (недаром у него было такое зловещее лицо), Трофим с топором, Трофим с мошениками, готовыми на все, и бог знает, что ему вообразилось. Он страшно струсил. В дверь кто-то постучал, потрогал ручку замка и опять постучал. Христофорский замер.

-- Барин! -- слышался глухой голос,-- отоприте...

Христофорский вскочил с постели, стал искать спичек и не нашел.

-- Отопните! -- слышалось за дверьми...

Голос Трофима слышался в ушах Христофорского.

-- Кто там?! -- во все горло заорал Христофорский, да так заорал, что у него самого встали дыбом волосы.

Три удара в дверь кулаком.

-- Отоприте... надо... я... жду...

-- Караул! -- заревел Христофорский. В ушах у него звенело, сердце билось...

-- Ну! -- слышалось за дверью, и опять кто-то стал спускаться с лестницы. Слышался чей-то говор внизу. Чьи-то шаги по двору, лай собаки, стук какого-то экипажа на мостовой за воротами. И опять все стало тихо, только собака все еще ворчала и по временам лаяла.

"Это он не один приходил... это он с мошениками... что если б дверь-то я не запер...-- думал Христофорский, тихонько подходя к двери и щупая задвижку...-- Это он все за гармонику... это он все за то, что я за платок вычел... подлец!.. Нет, я пистолет выпрошу у Баканова, что это за житье! Убить хотят... что это за анафемство!.. Ну уж... постой же, если так... если..."

Приложив ухо к двери, Христофорский с полчаса не двигался с места.

Наконец, когда собака затихла, а петух запел, он воротился в постель и перекрестился. "Трофим меня хотел убить, это ясно", -- думал он, засыпая.

"Это ясно, он хотел убить меня!" -- думал он, просыпаясь на другой день раньше обыкновенного...

XIII

А Трофим и дома не ночевал... Исчезновение гармоники огорчило его гораздо сильнее, чем вычет рубля из жалованья. Он знал, что приходил барин, и знал, что, пока он ходил за дровами, никого на дворе не было: это его штуки, догадался Трофим, и напала на него злость и досада великая. Рассердился Трофим. Не хочу же ему служить, черт он эдакий! Прости господи! Не хочу, плевать мне на их жалованье, пойду к Степану Степанычу, просто скажу, так и так, не хочу служить...

И пошел он с этой мыслью к Степану Степанычу, да дорогой вспомнил свою солдатку и отправился к ней куда-то к Крымскому броду. У солдатки нашел он маленькую трехгодовалую дочку в жару, чуть не при смерти, и, забывая все на свете, несчастный Трофим остался у ее тряпичной колыбели. Он то брал ребенка на руки, то качал его, то закутывал его ножки в дырявое стеганое одеяльце.

Так прошел весь вечер, и так прошла половина ночи. Солдатка дала Трофиму поужинать, поднесла ему стакан водки и уговорила его ночевать. Трофим остался ночевать, но проснулся на заре, и ушел от солдатки прежде, чем та успела за водой сходить: Трофим вспомнил, что дома надо ему вычистить сапоги Христофорскому и поставить самовар. Привычка, или, лучше сказать, врожденный инстинкт долга, заставили его спешить домой на услуги к тому самому Христофорскому, которого накануне он бранил всеми употребительными и в печати неупотребительными словами. "Еще успею с ним развязаться! -- утешал себя Трофим, шел и ворчал себе под нос.-- Да-а! Ты со мной расквитайся, не то деньги подай, не то струмент (гармонику свою он называл струментом), Струмент мне подай, не ты за нее деньги платил, вот что... растакой ты сякой!.." И тому подобное...

Когда Трофим пришел домой, Христофорский был уже на ногах и ходил по кладовой, обозревая, все ли цело. Христофорский узнал, что Трофима нет, что камора его заперта, и его ночные подозрения превратились в несомненную уверенность; он уже думал, что Трофим бежал и что он, Христофорский, обо всем этом обязан дать знать полиции, как вдруг, проходя нижние сени, он совершенно неожиданно застал Трофима под лестницей. Трофим преспокойно ставил самовар.

Христофорский остановился, сначала струсил, потом вытянулся и подбоченился.

-- А где ты был ночью? -- спросил он Трофима.

-- В Москве был,-- спокойно отвечал Трофим, не поворачивая спины.

-- Где ты был? Я тебя спрашиваю!

-- Ходил место искать.

-- Места искать! Нет, я тебя в полицию. Ты зачем ко мне ночью стучал, зачем в двери ломился? А?..

-- Может, кто и стучал, почем я знаю. А вот вы куда струмент-то мой дели? Вот что...

Христофорский вспылил: будущий богач не вынес, не мог вынести такого оскорбления, он схватил Трофима за воротник его чуйки и стал его дубасить.

Трофим был в десять раз сильнее Христофорского; не выносил своего барина и еще более был на него зол, но, несмотря на то, что даже губы его дрожали от негодования, он, не разгибая спины, позволил себя дубасить Христофорскому.

-- Вы не смеете меня трогать... вы!.. я еще не вам служу, еще руки у вас коротки...-- шумел Трофим.

А Христофорский продолжал, что есть силы, давать ему подзатыльники.

-- Я сейчас напишу записку Баканову, что ты хотел ночью обокрасть меня.

-- Я сам сейчас пойду... скажу, что вы меня обокрали, сейчас пойду.-- Трофим, только что перестали его бить, разгорячился, расходился не меньше Христофорского, уронил самоварную трубу, схватил шапку и вышел, размахивая сжатыми кулаками.

Прошло полчаса, у Христофорского еще и кровь не успела успокоиться, еще глупое лицо его было красно, как гребень индейского петуха, как уже пришлось ему вполне разочароваться насчет своей ночной

смелости, в минуту явной опасности быть убитым и оскорбленным.

Только что Христофорский стал мечтать о том, что Александра Степановна нынче же с матерью отправятся к Иверской и отслужат молебен за то, что небесные силы заступились за такое, как он, сокровище, явился перед ним, как лист перед травой, кучер от Куляпкина и объяснил ему, что Куляпкин, узнавши о перемене калош, по дороге от Бакановых на Тверскую заехал с сестрой к нему, Христофорскому, и велел кучеру достучаться и взять у него калоши, так как они рано утром ему могут понадобиться, а калоши Христофорского сваливаются с ног и до того растоптаны, что и ходить в них совестно.

Передавая все это, кучер ухмылялся во всю свою кучерскую бороду. Доказательство у него было в руках -- калоши Христофорского.

Христофорский силился улыбаться, щурил глаза, извинялся, сказал, что Трофима не было дома, и что он боялся отворить дверь, так как по соседству много воровства, наконец, пошел за калошами Куляпкина, осмотрел их со всех сторон и, можете себе вообразить, достал из жилета двугривенный и дал кучеру на водку. Последнее обстоятельство красноречивее всего говорит, до какой степени Христофорский, несмотря на свой медный лоб, был сконфужен. Он смутно понял, что из всего этого может выйти какая-нибудь история, ибо Трофим, несомненно, побежал на него жаловаться Баканову, и в какой день! в тот самый день, когда его любовная записка к Александре Степановне должна решить его участь...

"Гм! как только отделаюсь, -- решил Христофорский, закуривая трубку, -- сам пойду к Баканову и расскажу ему, что Трофим... что... мне от этого скота житья нет, что он вывел меня из терпения... Гм!.. Надо будет сказать, что он и святого выведет из терпения".

XIV

Трофим на этот раз не шутя пришел жаловаться к Баканову, но не застал его дома; хозяин с утра уехал хлопотать по коммерческим делам. Трофим зашел на кухню, напился там квасу, потом отправился в Девичью чай пить и всей дворне нажаловался на Христофорского. От дворни жалоба его какими-то путями, через горничных, дошла и до Марьи Саввишны. Все узнали о диком нраве и драчливости Мокея Трифоныча, узнали о пропавшем платке и о пропавшей гармонике.

-- Вот, приди-ка он сюда, сударик, мы ему намылим голову,-- говорила Марья Саввишна.-- Экой фофан!

-- Что такое? -- спросила Александра Степановна; она дурно спала ночь. Ложась в постель, перечла стихи, переписанные для нее Христофорским, долго потом молилась, потом долго думала; под глазами у нее были темные тени.

-- Дерется, фофан эдакий! У нас и в купеческом быту этого не было. Нашел отец твой эдакое сокровище! Трофима, который жил у нас три года, словечка не слышал, вдруг ни за что ни про что приколотил, разбойник эдакий.

-- За что?

-- Да вот поди ты, спрашивай, за что. Да я бы на месте Степана Степаныча прогнала его. Вот что!

Александра Степановна, не говоря ни слова, вышла, и, бледная, очутилась в девичьей. Битый Трофим в своем зипуне стоял у лежанки и уже вприкуску пил чай, поддерживая на толстых растопыренных пальцах дымящееся блюдечко. Расспрашивать его при свидетелях Александре Степановне стало совестно. Она ото всех скрывала страсть свою и ни перед кем никогда не обнаружила своего участия к Христофорскому. К этой скрытности еще с детства приучила ее ее тетушка, которая до последнего издыхания своего пилила ее за нескромность и ветреность. Ей иногда казалось, что тень этой тетушки и до сих пор следит за ней и пилит ее.

Она обвела глазами горничных, как бы прислушиваясь к толкам, и, когда все замолчали, судорожно улыбнулась и спросила:

-- Говорят, кто-то прибил Трофима: за что это?

В этом вопросе всем почудилось, что барышня принимает в Трофиме живейшее участие, и со всех сторон начались рассказы: нянька начала с того, что Христофорский озорник и прощелыга; горничная сказала -- за платок; ключница -- за то, вишь, что домовою его ночью душить приходится; наконец, кто-то еще сказал: ну,

что за беда! Был хмелен, да не выпался.

Последнее замечание отозвалось очевидной клеветой и недоброжелательством в ушах огорченной Александры Степановны; она знала, что Христофорский ничего не пьет. Это возмутило ее до глубины сердца; все клевета, подсказало ей тайное чувство. Женщины всегда оправдывают тех, кто им нравится, или даже тех, кому они нравятся.

-- Кто же это лез ночью к твоему барину: что за домовой? -- спросили Трофима.

-- А почему я знаю? Кому лезть!

-- Может быть, ты за чем-нибудь?

-- Да я... помилуйте: я и дома-то всю ночь не был,-- откровенно ляпнул Трофим,-- я еще вчера ходил новое место искать. Вот что.

-- А! Так ты не ночевал!.. А!.. Вот что? Так поделом же тебе,-- сказала Александра Степановна горячо, повернулась и, разгневанная, вышла вон из девичьей.

"Всегда так, -- думала она, садясь за пьелцы,-- не разберут и обвиняют. Этот болван не ночевал дома, а тот, может быть, только пальцем его тронул, и вот... такая история! Что он за ангел, чтоб и не сердиться, точно он не человек!"

Так, вышивая в пьелцах почти что до самого обеда, продолжала размышлять Александра Степановна и была не в духе. Бедная Александра Степановна! В этот день ждала ли она сюрприза! Все, чего она могла ожидать,-- это что придет Мокей Трифонович и посмотрит на нее так, как еще никто из смертных не глядел в ее ясные очи; ей будет мысленно жаль его, и она скажет ему два-три утешительных слова; скажет: вас бранят, но хорошо вы сделали, что побили Трофима, я бы сама его приколотила до смерти.

Вот до чего додумалась эта добрейшая в мире девушка, ни разу в жизнь свою не убившая мухи. Но... читатель сам может догадаться, какого рода сюрприз ожидал ее. За час до обеда Марья Саввишна позвала ее в спальню.

-- Зачем это? -- спросила она горничную.

-- Не знаю-с,-- отвечала Марья,-- какое-то письмо.

-- Какое там письмо, очень мне нужно! Александра Степановна накрыла пьелцы и с недовольным видом отправилась к матери.

Мать свою застала она сидящей у окна под образом с письмом в руке и с вытаращенными на нее глазами.

-- Поди-ка сюда, мать моя!-- сказала она... помолчав.

-- Ну, что еще?

-- Марья, стол накрывать ступай, -- сказала она любопытной горничной, -- поди-ка сюда, это к тебе письмо подбросили?

-- Почему я знаю: вы получили!

-- Ах ты бессовестная, бесстыжие глаза твои, какого жениха нашла!

Девушка вздрогнула, с недоумением поглядела на мать и побледнела: сердце ее забилося, оно смутно подсказало ей, кто этот, который пожелал руки ее.

-- Какого я жениха нашла? -- спросила она с тем же недоумением.

-- Дурака безмозглого, озорника, драчуна такого, что во всей Москве хуже нет, вот кого ты нашла! Прочти, мать моя... На, прочти, коли не слепа; вот, гляди!.. Читай!

Девушка робко взяла письмо и стала читать, щеки ее ярко вспыхнули, казалось, она вдруг все поняла и ударилась в слезы, бросилась лицом на брачное ложе своих родителей и стала плакать.

Марья Саввишна, как вы уже могли заметить, читатель, была женщина неглупая, у нее был такт и было сердце; ее поразили неожиданные слезы дочери, она подумала, что оскорбила дочь свою, что Саша плачет от злости на Христофорского, что этот дурак жестоко обидел ее, приславши ей такое письмо с таким

предложением. Долго не унималась Александра Степановна. Письмо выпало из ее рук и лежало на ковре, Марья Саввишна подняла его и спрятала к себе в карман, чтоб оно, проклятое, и на глаза не попало ее Сашеньке.

Наплакавшись, Александра Степановна встала и хотела сейчас же выйти, но, подошедши к дверям, остановилась и полуобернувшись к своей растроганной матери.

-- Маменька! -- сказала она.-- Пожалуйста, не говорите ничего папеньке, никому не говорите, я сама ему скажу, если надо, сама. Я не хочу, не хочу, чтоб это кто-нибудь знал, не хочу!

-- Ну, ну! Не скажу, не скажу,-- начала утешать ее Марья Саввишна,-- да и зачем это, стоит ли говорить! Мало ли дураков на свете, никому не закажешь.

-- Ну да-с! Конечно, дурак, но и дураку спасибо за то, что он... что он один любил меня...

Последние слова Александра Степановна произнесла с усилием, слезы опять навернулись в ее глазах, и она с опухшим носиком ушла к себе в комнату.

А в это самое время на другом конце дома Степан Степаныч выслушивал жалобу Трофима, которого привели к нему в кабинет через коридор и переднюю, а вслед за Трофимом в зале случайно появился Христофорский и, услышавши голос своего слуги, остановился, вытянул лицо, насторожил уши и стал подслушивать... что такое говорит Баканов, а Баканов, усталый и измученный, только что воротившийся, говорил Трофиму:

-- А зачем ты ему сдачи не дал! Эх! Глуп же ты, братец. Он тебя, а ты бы его, ну и были бы квиты.

Христофорский, услышавши такую мораль, постоял с минуту и, рассудив, что он пришел не вовремя, незаметно скрылся из залы и так же незаметно вышел из дому.

Его сильно озадачили слова Баканова; он никак не мог переварить их. "Черт знает какое невежество! Вот что значит необразованность!" Гордость заговорила в его мелкопоместно-дворянском сердце. Никогда еще лицо его не казалось таким измятым, никогда еще глаза его не глядели так мрачно и так тупо на проходящих и едущих по улице.

-- А я только что был у вас, -- сказал Христофорскому знакомый голос, и чья-то рука тяжело легла ему на плечо.

Это был Стуколкин.

-- Я ходил прогуляться, -- сказал Христофорский.

-- Ну, что?

-- Ничего. А вы разве отнесли письмо?

-- А вы сомневаетесь, а?

-- Неужели же отнесли?

-- Гм! А как вы смеете сомневаться? -- И Стуколкин посмотрел на него свирепо и с недоверием.

-- Я очень, напротив, благодарен вам..

-- Нет, вы скажите, вы меня вчера, может быть, морочили. А? Может быть, и девицы такой нет?

-- Ей-богу, Осип Осипыч, я..

-- Что ей-богу?

-- Ей-богу, все есть, и если вы отдали письмо, то как вы думаете, дошло оно или не дошло?

-- А почему бы ему не дойти, если я сам отнес его и отдал кучеру?, три рубля ему дал на водку. За вами три рубля серебром, вы этого не забываете, и когда я принимаю в ком-нибудь участие, то я не шучу. Понимаете вы меня?

-- Я уверен, Осип Осипыч.

-- Что вы уверены?

-- Уверен в вашем истинно родственном ко мне расположении.

-- Ну, то-то же.

-- И уверен, что девушка эта до безумия влюблена в меня и что никакие препятствия...

-- А разве есть препятствия? Как же вы мне вчера сказали, что никаких препятствий...

-- Очень может быть, что и никаких препятствий... Вы курите?

-- Нет, не курю.

-- А я хотел предложить вам Жукова трубку, если вы ко мне зайдете, то...

-- Это еще будет, это еще впереди, мой любезнейший, зайду к вам я еще, не раз и не два зайду, ждите меня через три дня. А где ваша квартира? А! Здесь! Как же это к вам вход-то -- со двора? А! вижу, вижу теперь. Слушайте: через три дня вы мне, как отцу родному, должны все сказать и не солгать ни на волос, ни, ни... Боже вас избави! А то вы, пожалуй, вчера мне наврали с три короба, ну, не наживите себе беды. Я на вас начальству донесу... только за жалованьем и являетесь в конце месяца.

-- Неужели вы мне не верите, Осип Осипыч! -- сказал Христофорский и повесил нос.

-- Ну, хорошо, верю, -- снисходительно отвечал Стуколкин, подозрительно взглянув на поникший нос Христофорского, -- погляжу, как вы на миллионе женитесь, погляжу, прощайте.

И Христофорский, с чувством пожавши красную, покрытую волосами руку Стуколкина, расстался с ним.

XV

Пришла ночь; вслед за ней, не спеша, и Степан Степаныч пришел в спальню к своей Марье Саввишне.

При свете неугасимой лампадки он начал раздеваться и заметил, что подруга его жизни глядит во все глаза, не спит, как будто дожидается его так, как дожидалась когда-то в медовый месяц.

-- Аль больна? -- спросил он жену. -- Что болит?

-- Больна не больна, а ты вот ложись, и, как ляжешь, я тебе новость скажу.

-- Какую? -- не без удивления спросил Степан Степаныч и даже приостановился; спальный сапог так и остался у него в руке. Он вообразил, что его или надули, или обокрали приказчики, или какой-нибудь вышел такой необычный скандал, что Марье Саввишне не терпится, чтоб не передать его со всеми подробностями.

-- Какую новость?

-- А вот ложись...

Степан Степаныч снял халат, обошел массивное брачное ложе, лег подле своей супруги и уперся подбородком в белое плечо ее.

-- Ну, вот, лег, матушка ты моя! Ну, какая тут у тебя новость? -- заговорил он заигрывая. -- Ничто не ново под луной.

-- За Сашу жених сватается, -- помолчав, сказала Марья Саввишна.

Баканов сел на постели, как человек, готовящийся говорить о таком деле, при котором спать или дремать не следует.

-- Али сваха опять наврала? -- спросил он.

-- Нет, не сваха.

-- Ну, так что ж, почему же Александрине и не выйти замуж, девка в соку; надо судить по-человечески: коли сама замужем, и другим не мешай.

-- А ты не бойсь не помешаешь?

-- Ну вот! Я что за помеха! Да за кого хочет, за того пусть и выходит, был бы человек, был бы...

Тут Степан Степаныч собрался чихнуть и стал искать платок, но чихнул без платка.

-- Значит, правду говорю, -- сказал он.

Жена сунула ему в руку свой платок и сказала; "На здоровье".

-- Ну, кто же это сватается?

-- Ну, отгадай; за тем и говорю, чтоб сам догадывался, коли ты умный человек.

-- Уж не доктор ли?..

-- Нет, куда тебе... променяет он свою актерку на жену.

-- Ну, Косаткин?

-- Нет.

-- Гм! Может быть, от Башлыкова или от Позументовых -- у них сыновья на возрасте.

-- То-то, что во веки веков не отгадаешь. Что тебя томить! Вот сам прочти, авось догадаешься.

Марья Саввишна подала ему записку Христофорского и потом зажгла свечу и поместила ее между собой и мужем, придерживая подсвечник обнаженной рукой. Таким образом, устроилась картина ночного семейного совещания.

Степан Степаныч стал читать, дочел до подписи и опять стал читать; брови его при этом выразительно двигались, губы ушли в рот, натянутая кожа гладко выбритого подбородка лоснилась, но ни особенного беспокойства, ни гнева, ни даже особенной, приличной случаю, досады не изобразило лицо его. Наконец, он слегка иронически засмеялся.

-- Хе, хе! Эдакий дурачина! Какую галиматью напорол! Александрина читала?

-- Читала.

Тут Марья Саввишна задула свечу и перенесла ее на ночной столик:

-- Ну что, смеялась, чай?

-- Да, хорошо кабы смеялась -- плакала чуть не до истерики. Что с ней было, и сама не знаю.

-- Так она плакала?

-- Я ж тебе толком говорю.

-- Гм! Я что-то не заметил.

-- Да ты, батюшка мой, никогда ничего не замечаешь.

И Марья Саввишна, в миллионный раз со дня своего супружества, задала ему маленький нагоняй. Она всегда по ночам потихоньку мылила ему голову, как обыкновенно поступают все умные жены, ибо ночью, что ни скажи -- все шито-крыто.

-- Нечего и замечать,-- оправдывался муж-философ, -- этот болваниссимус сдуру вообразил, что дочь моя влюблена в него. Вот и все. Мало чего он не воображает: ха, ха, ха! Он дурак, и стихи, говорит, пишет и в карты лучше всех играет, и все может сделать. Он, чего доброго, вообразит скоро, что у него апельсины на носу растут. Он просто находится в легком умопомешательстве. Вот и все. Я давно это вижу и снисхожу... Ему вечно бог знает что мерещится. Вон нынче Трофима поутру прибил: представилось, что тот ночью к нему в двери стучал. Черт знает что!

-- Не поминай черта, нехристь ты этакой!

-- Да поневоле тут и черта помянешь. Дело вздор, просто плевое дело, смеяться надо. Что с него спрашивать? Как есть дурачина.

-- А если Саша сама влюблена в него?

-- Ну, так она дура. Вот тебе и все. Влюблена! Ну, помилуй, что ты говоришь, ну, не глупа ли ты, матушка! Пришла тебе в голову этакая фантазия! Тьфу! Только бабам и приходят в голову такие фантазии.

И Степан Степаныч, пользуясь ночной темнотой, в свою очередь, немного помылил голову своей супруге.

-- Не стоит об этом говорить, -- заключил он, -- и ему ничего не надо говорить, как будто никакой записки и не было, и не получали. Так и скажем, что ничего не получали. Ты так и Александрине скажи, слышишь?

Жена отозвалась на это, что эту шутку она еще раньше его придумала, и показала вид, что хочет спать.

Муж также показал вид, что хочет спать, и, приняв положение более удобное для сна, слегка толкнулся спиной в спину своей благоверной, но, несмотря на это самое удобное для сна положение, долго не мог заснуть; беспрестанно в мозгу его бродили фразы из письма Христофорского; он шевелил губами и думал: "Ах, ты черт! Appetit потерял! Ест, как акула, за двоих ест! Скажите, пожалуйста! Какой несчастный! Appetit... ха, ха, ха! "В ваших руках жизнь и смерть моя"... Прямо из какой-то книжки, каналья, выписал. Господи ты боже мой! Родятся же такие дураки на свет!"

Так размышлял отец. Иные, совершенно иные мысли лезли в голову его дочери. Она также не спала. Ей было досадно, больно, что она не оставила при себе письма Христофорского. Она была полна жажды опять у себя, наедине, перечитать его. Она ничего не помнила из того, что прочитала; помнила только, что он ее любит и просит руки ее. Она сама сочиняла за него тысячи страстных фраз и думала, что все эти фразы прочла в письме его. Одним словом, она сама себе сочинила или переделала письмо Христофорского, и оно казалось ей таким нежным, таким деликатным, полным такого неисходного горя и таких бескорыстно-благородных намерений. Кто не знает, что разумеют девушки под словами бескорыстно-благородное намерение? Это намерение взять их с душой и телом в свое полное, беспардонное и пожизненное обладание. Что ж всего невероятнее, это то, что известная нам с вами, читатель, физиономия Мокея Христофорского представлялась ей в сиянии красоты неописанной. Ей хотелось целовать его в голову, и в глаза, и в губы. Поневоле вспомнишь Шекспира и его Титанию, обнимающую ослиную голову.

XVI

Когда на другой день утром Александра Степановна принесла в кабинет к своему папе чистое полотенце (ибо Степан Степанович всегда умывался и одевался у себя в кабинете за ширмами, где у него и стоял умывальный с машиной столик), он мельком, но пристально посмотрел на дочь свою и почему-то нашел, что лицо у нее скучное.

-- Отчего ты такая скучная? С левой ноги встала, а?

Александра Степановна также мельком и также пристально посмотрела на своего папеньку.

-- Да чему же радоваться? Никакой нет радости.

-- А вот в мае на дачу съедем, там будет веселее.

-- Мне все равно.

-- Ну какое же все равно... не все равно. Лер пюр е ля боте де ля натюр, с пуртан ля променад, се тре бьен пур ля санте.

-- Я и так здорова, зачем мне здоровье.

-- Ах ты, разочарованная! Ну, поцелуй меня и ступай, я буду одеваться.

"Да, она чем-то огорчена. Верно, это баба моя принялась бранить да пилить, как всегда она это делает, а чем она виновата?" -- подумал Баканов, когда вышла дочь.

"Он все знает, иначе не заметил бы, что я скучная... -- подумала дочь, воротившись к самовару и заваривая чай.-- Маменька проболталась. Ну да мне все равно... я ни на кого смотреть не стану, я не ребенок, у нее свой ум, а у меня свой. Они умные, а я глупая, а если глупая, так и не жди от меня ничего умного".

Но прошло два дня, и Александра Степановна могла бы совершенно убедиться, что отец ее ничего не знает -- о письме не было и помину, -- если б Степан Стег паныч не вменил себе в обязанность и за столом и за чаем трунить над Христофорским. Обедал Куляпкин и рассказывал, как он заезжал за калошами и как Христофорский, дурак, "караул" кричал на всю улицу, и рассказывал это так смешно, что даже серьезная Марья Саввишна смеялась.

"А! теперь вижу, -- думала Александра Степановна, -- не только папка, но и Куляпка знает, иначе они не выдумывали бы на Христофорского таких глупостей. Ишь как тешатся! Как хохочут! Это они нарочно... Ну,

если Куляпкины знают, значит, вся Москва знает. Так-то мама сохраняет мои секреты... хорошо же!"

Степан Степаныч, в свою очередь, сделался пронизателен. Он увидел, наконец, что, когда речь идет о Христофорском и когда все смеются, у его дочери лицо делается таким холодным, таким неестественно-спокойным, что как будто она глуха и ничего не слышит.

"Э! -- думал Степан Степаныч, и нечто вроде беспокойства стало закрадываться в его душу.-- Черт знает, что у ней на уме! Не попробовать ли отказать Христофорскому от дому и сказать ей: что она скажет?"

Но Баканов на это не решался: он обещал жене своей ничем не обнаружить перед дочерью, что он знает о глупой записке Христофорского; к тому же это значило бы записке этой придать значение, а этого-то ему и не хотелось.

XVII

Христофорский же, как нарочно, не являлся; он, во-первых, был обижен тем, что Баканов поставил его на одну доску с Трофимом, во-вторых, ожидал по городской почте ответа от Александры Степановны. По утрам, запуганный угрозой Стуколкина он отправлялся в палату, вечером сидел дома. Где же он обедал? Бог его знает! Может быть, навещал своих старых знакомых, у которых давно не был, и нечаянно попадал к ним прямо к обеду, может быть, закусывал в трактире.

Если Александра Степановна воображала, что Куляпкины все знают, то она ошибалась, как ошибаются все влюбленные. Куляпкины ничего не знали, только палата, где служил Христофорский, знала о сватовстве Христофорского, и так как наши чиновники одарены особенно развитым воображением, то и вообразили себе целый роман, и Христофорский, до сих пор существо совершенно для них ничтожное, как будущий миллионер, вдруг стал для них героем или субъектом, достойным особенного внимания.

Стуколкин по секрету сказал своему столоничальнику: Христофорский на богачихе какой-то женится, говорит, денег куры не клюют; я этому дураку помогать хочу.

Столоничальник сообщил о том же советнику, и пошли эти слухи и рассыпались по всем столам, принимая всевозможные оттенки и толкования.

Когда Христофорский неожиданно явился в палату и сел на свое место, он уже заметил некоторую перемену в обращении; все на него как-то странно оглянулись, как будто он какая невидаль; один только Стуколкин не обратил на него внимания, только через полчаса упорного молчания он пригнул к нему мясистое лицо свое и спросил вполголоса:

-- Ну, как дела?

-- Все хорошо идет, -- покрасневши отвечал Христофорский.

Ему показалось, что скажи он "неизвестно", или "плохо", или "Бог знает, как дела идут", Стуколкин, только что кончится присутствие, догонит его на лестнице и непременно, самым безобразным образом, при всех побьет его.

-- Ну, что пришли?! -- сказал Христофорскому дружелюбно столоничальник его, добрейший Яков Михайлович Стороженко. -- Как будто мы без вас и не можем, -- и при этом ласково поглядел на покрасневшее лицо его, -- вот разве эту бумажонку перебелите, да и ее, пожалуй, Прохоров перепишет. Еще успеете послужить...-- добавил он, как будто перед ним торчал не Христофорский, а маленький мальчик, только что кончивший курс гимназии.

-- Нет, пусть ходит,-- заметил Стуколкин, разглядывая какую-то подпись на какой-то бумаге, -- беден, так служи.

Христофорский переписал бумагу и сел, откинувшись на спинку казенного стула, как будто какой граф или такой человек, которому сам черт не брат.

Это еще больше внушило к нему некоторое уважение.

-- Ишь ты, черт, какую штуку удерет, коли на миллионе-то женится... Чего доброго, в губернаторы или в откупщики ползет. Нашлась же дура!.. эдакое счастье! -- завидовали мелкие чиновники-юноши из кантонистов и пришибленные старички, продолжая выводить строку за строкой, пригибать к столу голову, и

одним только левым глазом коситься на кончик пера, а правый глаз держать наготове, чтоб успеть встать, если выйдет сам из-за стеклянной двери, за которой блестит зеркало, и откуда могут появиться всякого рода регалии.

Какой-то, даже очень важный, чиновник с орденом, из другого отделения, проходя в тесном пространстве между стеной, забрызганной чернилами, и столами, столкнулся с другим, не менее важным, чиновником без ордена, но зато с большим, выпятившимся брюхом, и вместо того, чтоб извиниться или попросить табачку, шепнул ему что-то на ухо и заставил его оглянуться на Христофорского.

Одним словом, Христофорский и не подозревал, как он шумит, и не воображал, до какой степени его сослуживцы занялись судьбой его. Они на другой же день узнали, кто такой купец Баканов, каких лет его дочь, какой капитал у него в обороте, сколько долгов, на сколько тысяч лежит товару, и решили, что хотя у Баканова далеко нет еще миллиона, но что он купец богатый и не на одну сотню тысяч имеет состояние. Вследствие таких толков, из какого-то темного угла, по городской почте, шло анонимное письмо к Степану Степанычу Баканову, в котором Христофорский описывался черными красками и изъявлялась готовность найти для его дочери жениха более достойного.

Но обратимся к чему-нибудь другому. Ну хоть к Трофиму. Если палата была удивлена Христофорский, то Трофим еще более был удивлен словами Баканова: "Не спускать Христофорскому". Ему показалось, что Баканов над ним тешится. "Эх! не в добрый час пришел!" -- думал он, уходя домой и почесывая затылок. С тех пор все было тихо и мирно в квартире Христофорского. Христофорский ни слова не говорил Трофиму, Трофим также два дня не говорил со своим баринном. Но на третий, утром, когда принес самовар, поставил его на стол и стал уходить, но вдруг обернулся и сказал:

-- Барин!

Христофорский посмотрел на него исподлобья.

-- А барин!

-- Что тебе?

-- Что ж это, так все и будет?

-- Что тебе?

-- Как что! Значит, так моему струменту и пропадать?

-- Какому струменту?

-- Вы мне скажите, куда вы его дели? Что ж это? Нешто другой покупать? Вы и так наказали, из жалованья целого рубля недодали.

-- Гм! Разве я тебе не все жалованье выдал?

-- А как же?!-- и Трофим посмотрел на него вопросительно, а в то же время с упреком самого свирепого качества.

-- Я, кажется, тебе все выдал.

-- То-то все, а еще барин прозываешься...

Трофим, очевидно, сбирался грубить, губы его надувались. Христофорский это почувствовал.

-- Гм! Если не все, значит, обчелся, ты зачем мне не сказал, что не все, я бы отдал!

-- Ну отдайте.

-- Ну и отдам, что ж ты стоишь, отдам, говорят тебе, придешь завтра, ну и получишь... Сколько я тебе недодал?

-- Сами знаете...

-- Ну и отдам, пошел!

-- А струмент?

-- Я и знать не знаю и ведать не ведаю...

Трофим постоял, поглядел, подумал, повернулся и вышел. Христофорский посидел, посидел, да и стал ходить по комнате. Он все эти дни был не в духе, то собирался идти к Банановым, то не решался. Самолюбие стало развиваться в нем и мешало. Это доказывает, что при известной обстановке иногда меняются характеры. Медный лоб Христофорского припомнил, вероятно, все свои неудачи в прошлом и по инстинкту стал осторожнее. Накануне заходил к нему Стуколкин (не вытерпел, зашел раньше трех дней) и стал стучаться. Христофорский был дома и не отпер, слышал, как Стуколкин за дверью ругал его всякими словами, и все-таки не отпер...

Что ему делать? Ответа нет как нет -- он сделался нерешительным, даже отчасти раскаялся, что послал письмо.

При первой удаче, самой маленькой удаче, я уверен -- и вы, читатель, уверены -- у Христофорского исчезнут и эта нерешительность и это раскаяние.

Чтобы узнать наконец, как идут дела, получено ли письмо, или Стуколкин и не думал отдавать его, или оно не дошло по назначению. "Ах, если не дошло!.." -- невольно подумал он и, скрепя сердце, отправился к Бакановым.

Баканов, получив анонимное письмо, был страшно зол на Христофорского. "Верно, дурак похвастался прежде времени",-- подумал он, но письма этого не показал ни жене, ни дочери, чтоб не тревожить их; ему казалось, что все это прошло и кануло в реку Лету, что Христофорский сам поймет, что он глуп, или будет молчать, если обращаться с ним по-прежнему и не подавать никакого вида.

-- Где пропадали? -- спросил он Христофорского ни холодно, ни ласково...

-- Был не совсем здоров, Степан Степаныч!

-- Чем это ты хворал, батюшка,-- заговорила Марья Саввишна,-- не головой ли?

-- Точно, что у меня все голова болела, прилив знаете, все кружилась. Также озноб был...

Баканов чему-то засмеялся. Поглядел на дочь и ушел заниматься в свою комнату.

Марья Саввишна продолжала что-то работать, Александра Степановна также как ни в чем не бывало сидела за пяльцами и шила.

Марья Саввишна, верная своей тактике, и виду не подавала Христофорскому, что она знает о его предложении.

-- Вы на меня не сердитесь, Марья Саввишна? -- спросил ее Христофорский. У Александры Степановны дрогнула рука, она побледнела и низко, к самой канве, наклонила свою голову.

-- А за что это?.. Кажется, не за что...

-- А за то, что я так давно у вас не был.

-- Как же, очень сержусь! Не видала тебя, такое сокровище! -- отвечала Марья Саввишна, тряхнувши животом от невольного позыва к смеху.

-- Если б я не был болен, я бы давно у вас был. Вы на меня, ради бога, не сердитесь за это.

"Экой дурачина!" -- подумала Марья Саввишна, едва сдерживая смех.

"Экая простая, добрая душа! -- подумала Александра Степановна,-- думает, что на него мы сердимся".

Христофорский, поговоривши с Марьей Саввишной, пошел поговорить со Степаном Степанычем, но нашел его за чтением "Московских ведомостей", и, не желая мешать ему, сам себе продул один из стоявших в углу черешневых чубуков и набил трубку. Видя, что все как будто по-прежнему, он убедился, что о письме его никто, кроме дочери, не знает, или что оно вовсе не было послано, и совершенно успокоился.

Успокоившись на этот счет, он стал ходить к Бакановым по-прежнему, чуть ли не каждый день. Александра Степановна была постоянно при матери и почти ничего не говорила с ним. На расспросы Марьи Саввишны, она отвечала: "Ей-богу же он ничего такого не говорит мне, даже не намекает; очень может быть, что и

письмо-то написал не он, а кто-нибудь, так, ради шутки, мало ли на свете забавников!"

Родители успокоились. Утром, в какой-то четверг, Марья Саввишна уехала в лавку, муж ее отправился на биржу, Александра Степановна, в одной распашонке, была в зале, поливала цветы в горшках и думала о том, о чем она постоянно думала,-- о Христофорском. И вдруг вошел Христофорский! Александра Степановна испугалась и водой облила себе платье.

Христофорский также почему-то сильно сконфузился.

-- Как вы меня испугали! -- сказала Александра Степановна.

-- Разве никого дома нет? -- спросил Христофорский.

-- Никого...

-- Получили вы мое письмо?..

Александра Степановна вместо да вздохнула и кивнула ему головой.

-- Итак, могу ли я надеяться и просить вашей руки?

Александра Степановна с испугом оглянулась на дверь пустого кабинета, потом на дверь пустой гостиной.

-- Разве... разве вы меня очень любите?..

-- Можете ли вы сомневаться, до какой степени я люблю вас, как я в вас жестоко влюблен?.. Я так в вас влюблен, Александра Степановна, что умру, если вы мне откажете!

-- Говорят, вы скупой и злой. За что вы прибили Трофима?..

-- Он с утра до ночи грубит мне, Александра Степановна, даже спать не дает -- уверяю вас... Если бы не вы... Я бы совсем с ума сошел... Я человек небогатый, но я дворянского происхождения, и всегда был в хороших домах, все меня любили, все... и неужели вы меня не любите?..

-- Пойдемте в гостиную, признавайтесь во всем! -- сказала Александра Степановна. Ей хотелось более нежной, более страстной сцены. Ей хотелось даже ободрить его, придать ему больше смелости.

Когда они вошли в гостиную, она стала у печки, он стал против нее и взял ее за руку.

-- Нет, нет, -- говорила она, задыхаясь,-- вы меня не любите.

-- Как же мне не любить вас!

-- Любите меня больше всего на свете, больше денег? -- больше...

Христофорский, не зная, что еще говорить и как еще уверять, обнял ее и поцеловал.

Александра Степановна вспыхнула, хотела вырваться, но рванулась, и остановилась, голова ее склонилась к его плечу, и она... стала порывисто и тихо говорить ему: "Можей Трифоныч... Мне ничего не надо, кроме вашей любви, ничего, ни вашего ума, ни вашего дворянства, я люблю вас, и ночи не сплю, и все об вас думаю. Я ни за кого не пойду замуж. Кто меня любит, тот и будет моим мужем... да говорите же! Ах, нас могут увидеть... отодвиньтесь, дайте я сяду -- сядьте на этом кресле. Говорите же, в последний раз, очень вы меня любите?"

-- Ей-богу же люблю, Александра Степановна!

-- Ну так сватайтесь -- я согласна.

Христофорский, как вежливый кавалер, хотел взять у нее ручку и поцеловать, но вошла горничная Марья и не без подозрительного изумления посмотрела на красные щеки и красные ушки своей скромной барышни.

Христофорский встал, раскланялся и ушел, радостный и сияющий. Мог ли кто думать (он сам всегда думал), что такой дурак может возбуждать столько страсти!

Теперь на что ни решится Христофорский, не обманувшись в любви этой девушки; он тем сильнее убедился, что и все прочее, на что он надеется, не уйдет от него, не минует рук его. Дома он остался ненадолго, только трубочку выкурил, и пошел в палату. День был, как нарочно, светлый, теплый; в палате даже одно окно было настежь отворено, и даже какой-то молоденький чиновник из студентов сидел на нем и глядел на двор, куда

приводили арестантов.

Христофорский занял свой стул. Стуколкин по-прежнему не обращал на него никакого внимания; он только покосился на него и продолжал писать,

Так прошло минут десять.

-- Дайте ему, Яков Михайлыч, что-нибудь хоть переписать,-- сказал Стуколкин, обращаясь с недовольным лицом к своему столоначальнику,-- терпеть не могу, когда тут сидят за одним столом и ничего не делают.

-- Экая вы горячка! -- проговорил ему в ответ Яков Михайлыч, -- не успел человек прийти.

-- Да помилуйте, эдак и я перестану ходить... Это черт знает что такое! Да и что он за птица! Я не отдыхаю, когда прихожу, а он... это черт знает что...

Христофорский обиделся (стал очень обидчив), но молчал.

Яков Михайлыч не знал, что и заключить из поведения Стуколкина. "Экая горячка! Готов наделать и мне неприятностей!" -- продолжал он думать, сочиняя отношение в какую-то провиантскую комиссию.

Христофорский по-прежнему молчал и сидел без дела.

Яков Михайлыч встал и пошел куда-то за справками.

-- Ну, теперь все дело в шляпе, согласие получено,-- сказал Христофорский на ухо Стуколкину как бы для того, чтобы озадачить его и наказать за дурное обращение.

Стуколкин продолжал писать, но физиономия его значительно смягчилась, наконец он покосился на Христофорского и сказал:

-- Я на вас, милостивый государь, зол. -- За что?

-- А как вы смели не принять меня, разве я не знаю, что вы были дома?

-- Да я не знал, что это вы, и я не мог отворить, потому что, знаете, такой был случай: я никого принять не мог.

-- А! Понимаю: так вы, кроме того, что у вас богатая невеста есть, еще разные шуры-муры с девчонками заводите... это мы доведем до сведения. Гм, только вы наперед знайте, уж это вы так и знайте,-- приду, постучусь, нет ответа, двери вышибу, видите, какой кулак! А? Что вы на это скажете? Вы, однако, не уходите без меня.

-- Я никуда не уйду.

-- Ну то-то же.

Часу в пятом уехал председатель, и все стали расходиться. Стуколкин также стал выходить, не выпуская из виду Христофорского, и как только тот надел фуражку, спустился вместе с ним на площадку по каменной лестнице.

-- Так дело-то, значит, с моей легкой руки, на лад идет? А?..-- заговорил Стуколкин. -- А что вы думаете, кто вам помог, а? Да я, знаете ли вы, какое я письмо написал для вас? Самому себе никогда таких писем не писал! Я вам так сочинил это письмо, что никакая,-- вон видите, монашка идет к Иверской, получи она такую цидулку, и она не устояла бы. Понимаете ли вы теперь, что значит моя помощь?

-- Что ж мудреного письмо написать: я не только письмо, и стихи с рифмой недавно послал моей невесте своего собственного сочинения,-- возражал Христофорский довольно небрежно, к немалому удивлению своего нового приятеля.

"Ах, свинья!" -- подумал приятель.

-- А зачем же вы прибегали ко мне за помощью, ночью, разбудили меня, помешали мне, если вы сами все можете? А? Я вас спрашиваю, зачем? За кого же вы меня принимаете, смеяться, что ли, вы надо мной вздумали!

-- Я действительно просил вас, Осип Осипыч, потому что вы человек опытный.

-- А, вот что. Опытный! Так вы, стало быть, сознаете, что я опытнее вас и могу быть во всех случаях жизни полезен вам?

-- Это я очень понимаю,-- проскрипел Христофорский.

-- Ну, не стану с вами ссориться, не стану... Если письмо мое подействовало и вам не отказано в руке этой мадемуазели, вы должны сейчас же угостить меня, -- пойдём к Печкину.

Христофорский этого никак не ожидал... Он стал отнекиваться, божиться, что у него в кармане денег ни копейки нет.

-- Нынче ни копейки, завтра ни копейки, а послезавтра тысячи, сотни тысяч. Фу, дьявол вас побери, какое счастье! Пойдем же к Печкину, закажем обед и кутнем, выпьем на ты -- я... хочу с вами на ты,-- потому что вижу, что вы человек хороший. Идем.

-- Я ничего не пью,-- сказал Христофорский.

-- Я сам ничего не пью. Идем.

-- Да право же, Осип Осипыч, у меня ни копейки с собой.

-- Ничего! Вы думаете, что у меня денег нет? Я займы поверю на угощенье! Сколько вам? Десять -- так десять, двадцать -- так двадцать, будто у нас денег нет! Когда-нибудь отдадите мне с процентами,-- и Стуколкин на ходу раскрыл свой бумажник.

Христофорский покосил свой нос на чужой бумажник. "Что ж,-- подумал он, -- возьму у него десять, когда-нибудь отдам".

-- Ну, на это я, так и быть, согласен -- сказал он,-- десять дайте.

-- А вот погодите, здесь на ветру не дам, войдем.

И они вошли при трубных звуках органа в дымную атмосферу печкинского трактира.

Вовсе не интересно знать, как ели и пили Христофорский и Стуколкин. Скажу только, что Христофорский отказался от водки, но не устоял от пива. Пиво он любил, но побаивался Стуколкина и не хотел опьянеть в его присутствии, не устоял же оттого, что день был жаркий и у него пересохло в горле. Чем больше он пил пиво, тем больше поддавался внушениям Стуколкина, и по его настоянию под вечер, часу в восьмом, спросил бутылку шампанского; бутылку эту они распили, чокаясь бокалами, и выпили на "ты". Стуколкин хвастался своими победами над женщинами и много рассказывал Христофорскому, что он человек опасный и решительный. Но тот ничего не рассказывал, даже, подивитесь, читатель, утаил от своего нового друга утренний поцелуй. Счастье многих делает откровенными, но многих и скрытными. Христофорский решительно поумнел на два вершка с тех пор, как воображаемое им стало отчасти превращаться в действительность. Ничто, казалось, не поссорит новых друзей, но вышло иначе.

Половой подал счет. В итоге оказалось девять рублей тридцать пять копеек. Стуколкин подал этот счет Христофорскому. Христофорский бессмысленно посмотрел на него; у него двоилось в глазах; он даже улыбнулся.

-- Кто же заплатит? -- спросил Стуколкин.

Христофорский закрыл глаза, вытянул ноги, подбоченился и не отвечал.

-- Ты ведь, кажется, пригласил меня,-- сказал Стуколкин,-- можешь платить, так плати, а не то...

-- Я не могу,-- сказал Христофорский.

-- Ну, займи у меня. Ведь ты хотел у меня десять рублей занять.

-- Когда?..

-- А вот, как мы с тобой шли сюда.

-- Не помню.

-- Ну, не помнишь, так плати.

Стуколкин был не пьян, но красен, как сафьян, и глаза его с особенной пронизательностью останавливались на лице Христофорского.

Христофорский пошарил у себя в жилетном кармане, нашел пятиалтынный и торжественно положил на стол.
-- Бери за пиво,-- сказал он половому.

Половой поглядел на обоих, взял пятиалтынный и спросил Стуколкина:

-- Значит, вы, сударь, остальные заплатите?

Этот вопрос окончательно задел за живое Стуколкина. Он встал и подошел к Христофорскому.

-- Ну, послушай ты,-- сказал он, стараясь не рассердить его,-- я, так и быть, дам тебе займы десять рублей, чтоб ты расплатился. Так и быть, дам, разумеется, с процентами; иначе будет скандал: ты заказывал, и тебя не выпустят. Вот тебе деньги, пиши расписку. Половой, дай чернильницу.

Половой принес бумаги и чернильницу. Стуколкин написал расписку и дал перо Христофорскому, чтобы тот подписал ее.

В расписке, вместо десяти, было написано пятьдесят рублей; Стуколкин был уверен, что полупьяный Христофорский подпишет все, что ему вздумается, и что ему, когда он женится, будет левое дело отдать вместо десяти пятьдесят рублей.

Но Христофорский не был настолько пьян, чтоб даться в обман. Что касается денег, у него было побольше характера, чем у Стуколкина. Он сам был бы не прочь надуть его и решительно отказался подписывать.

-- Не надуешь! -- говорил он.

-- Как ты смеешь так говорить? Вспомни, сколько ты у меня занял.

-- Ничего не занял, -- отвечал Христофорский и закрыл глаза, притворяясь более пьяным, чем он был на самом деле.

Мелкая хитрость равнялась в нем его тупоумию. Сила характера равнялась самоуверенности, что он всех умнее.

-- Послушай ты, подлец! Если ты не заплатишь денег или не подпишешь расписки, я морду побью тебе,-- шипел ему на ухо Стуколкин, -- слышишь, я до полусмерти изобью тебя.

-- Хорошо, согласен, -- сказал Христофорский, притворяясь, что хочется спать, -- хорошо, завтра... приходи завтра. Теперь оставь меня -- я пьян.

В Христофорском не менее, чем в сердце Стуколкина, разгоралось тайное желание: пустить в ход кулаки и ладони.

Но птицеобразный Христофорский трусил, воображая, что зверообразный Стуколкин его сильнее и, чего доброго, наставит фонари, изуродует красоту его. Он положил руки на стол и уткнул в них свой длинный нос, решаясь лучше пожертвовать несколькими клочками волос из своего затылка.

Стуколкин непременно бы сделал скандал, то есть при всех исколотил бы его, если бы, во-первых, был пьян (от четырех бутылок пива и одной шампанского он пьян и быть не мог), и если бы, во-вторых, не понимал, что будущий богач, чего доброго, не тем, так другим отомстит ему. "Теперь еще и нету у него ничего,-- думал он,-- а уж столоначальник начинает перед ним подличать, а что, когда будет? тогда ему, чего доброго, и председатель станет руку протягивать да о здоровье осведомляться". Злости его не было границ, но буйная воля вошла в границы; он смутно понял, что как ни глуп Христофорский, но тертый калач, и что угрозой или кулаками от него ни копейки не вытянешь. К тому же Стуколкин дорожил местом на службе и любил деспотизм свой упражнять с глазу на глаз, а не среди почтенной публики. Он видел, что на них и так уже не одни половые стали обращать внимание. Скрепя сердце, заплатил он девять рублей с копейками и первый вышел из трактира.

Только что он исчез, Христофорский почувствовал облегчение и, подняв голову, перешел в другое отделение, сел в уголке и целый час не решался выйти на улицу. Стуколкин стал являться в его воображении чем-то вроде облагороженного Трофима, и если он мог побить последнего, то первый очень

легко может побить его, в свою очередь.

XVIII

Можете сами представить, в каком необычном расположении духа вышел Христофорский из трактира Печкина. Голова его была мутна; на улице, переходя с тротуара на тротуар, он то гордо усмехался, как бы радуясь, что не дал Стуколкину надуть себя, то робко оглядывался и ускорял шаги.

Когда он пришел домой, заперся и лег спать, образ Александры Степановны раза два возникал перед ним из хаоса каких-то полусонных, несвязных мыслей; ему уже казалось, что Александра Степановна давным-давно жена его, и что он сердится на нее за то, что она заплатила Стуколкину десять рублей. "Ты обещал, -- говорит Александра Степановна". -- "Он хотел меня надуть, -- возражает засыпающий Христофорский". -- "Ты хотел его угостить". -- "Нет, он меня, а не я его тащил в трактир. Смотри, вон он тебя одним кулаком убьет... караул!..." -- и Христофорский чуть не закричал. Ему приснилось, что его дубасит Стуколкин. Но мало ли бывает всяких грез и мечтаний! Все это очень естественно. Наконец Христофорский совсем заснул и даже захрапел; и это естественно, но что вы скажете, читатель, как вы объясните его пробуждение? Это было в час ночи. Прилила ли кровь к его ушам, кошки ли праздновали свадьбу, ветер ли свистел в открытую вьюшку, только Христофорский проснулся в ужасе. На чердаке, почти над самой его кроватью, играла гармоника. Да еще как играла! Сначала какие-то дикие дьявольски-жалобные звуки, тянулись, обрывались и опять тянулись. Христофорский сел на кровать и стал креститься. Потом вдруг заиграла, засвистела такая песня, что "трепак" не "трепак", "во лузях" не "во лузях". Черт знает что! По потолку что-то застучало, затопало. Христофорскому показалось, что там идет такая пляска, такая возня, что страх! У него и лицо перекошилось от ужаса. Кое-как нащупал он рукой спичку и мазнул по стене, спичка вспыхнула, гармоника затихла, зато в окно со двора глянула какая-то красная рожа и высунула огненный язык. Христофорский уронил спичку и опять остался впотьмах. Тут он закрыл глаза, положил подушку на голову и до рассвета дрожал, как в лихорадке.

Читатели уже знают, что Христофорский был трус порядочный. Все это могло ему почудиться, потому, быть может, что в мозгу его еще бродили пары шампанского.

"Черт знает, что это такое было! -- подумал он, продирая глаза часу в десятом утра.-- Нет, здесь не чисто,-- заключил он, надевая халат,-- надо поскорей жениться, да и... гм! а может быть, это перед моей свадьбой так домовый распотешился".

Он отпер дверь, подошел к зеркалу и увидел, что лицо его как будто осунулось. Пришел Трофим с ручкомойником.

-- Ты ничего нынче ночью не слышал?-- спросил его Христофорский.

-- Чего? Ничего не слышал -- али кто выживает?

-- Ты... ты ночью не играл на гармонике?

-- Я! А где я ее возьму? Вот куплю новую, ребята обещались поддержанную за двугривенный достать.

-- Так ты не играл? А?

Трофим поглядел на своего барина.

-- Ну, так это черти играли.

-- Черти! Как черти!-- Трофим ослабилась и опять поглядел на барина.

-- Сходи на чердак, там поищи, не занес ли кто туда твоей гармоники,-- там нынче ночью такая была возня да пляс, что... это, должно быть, перед свадьбой, как ты думаешь?

-- Я давно знаю, что выживает,-- отвечал Трофим, приподнимая ручкомойник над протянувшимися к тазу ладонями барина.

Христофорский взял мыло. Он с некоторых пор мыл мылом не только руки, но и лицо.

-- А что?..

-- Да так: дверьми стучат,-- а вы нешто на чердак струмент-то мой забросили? А?

-- А я не помню. Что ж ты стоишь -- лей!

-- То-то оно... того, значит,-- проговорил Трофим, плеснув ему на руки.

Христофорский молча умылся и стал полотенцем вытирать лицо свое. Трофим молча вышел.

Ночной страх скоро совершенно испарился из головы Христофорского. Он отдал приказание дворнику стоять у калитки и, если кто придет к нему, сказывать, что, дескать, Мокей Трифоныч ушел и не скоро воротится, а сам сначала вычистил свой сюртук, потом достал лучшую манишку, выстриг свой острый подбородок, причесал свои рыхлые баки, оделся и, живо представив себе вчерашнюю сцену в гостиной с Александрой Степановной, направил шаги свои к дому Баканова.

Не без смущения, но довольно развязно вошел он к нему в кабинет.

Баканов сидел в халате за конторкой; перед ним стояли два сидельца -- один со счетами, другой с аршином за пазухой; Баканов что-то записывал, словом, был занят. Утренний визит Христофорского, и в тот именно час, когда, по своим занятиям, он не должен отлучаться от кладовой, наконец, примазанный, приглаженный, лоснящийся вид его не понравился Баканову; он едва кивнул ему головой и даже слегка поморщился.

Христофорский, не желая мешать, отошел в уголок, набил трубку, уселся и стал покуривать; смотря на лицо его, кажется, в эту минуту никто бы в мире не подумал, что он собирается свататься: Христофорский курил, пускал дым и преспокойно дожидался, скоро ли уйдут сидельцы; наконец, они низко поклонились, встряхнули волосами и вышли, один придерживая счеты, чтоб не слишком размахивались, другой положила руку за пазуху. Христофорский затянулся дымом, встал, вытянулся, поставил трубку в угол и подошел к Степану Степановичу. В эту минуту лицо его покрылось краской.

-- Я к вам по делу,-- сказал он.

Баканов посмотрел на него из-под руки и сказал:

-- Я теперь занят.

-- Я-с к вам, Степан Степаныч, с великой просьбой.

-- С какой?-- нехотя спросил его Баканов. Он уже понял, о чем сейчас брякнет ему этот ранний гость.

И Христофорский действительно брякнул:

-- Я пришел-с, Степан Степаныч, просить руки вашей дочери.

На лице Баканова, в особенности на местах, где были следы золотухи, выступили розовые пятна, но по обыкновению своему он попробовал засмеяться.

-- Вы просите руки моей дочери!..

-- Да-с, потому что очень влюблен в нее. Надеюсь, что я...

-- Ну-с...

-- Я от чистого сердца говорю, Степан Степаныч.

-- Ну-с... Вы знаете, я не стесняю ничьей воли -- это не мое дело! Что еще скажет дочь моя. Думаю, любезнейший, что она не пойдет за вас.

-- Александра Степановна согласна-с. Она сама вчера сказала мне, что она меня очень любит и согласна, Степан Степаныч; иначе я никак бы не смел...

Баканов, у которого уже вертелась в голове мысль сделать из сватовства Христофорского смешную сценку, чтоб потом рассказывать об этом в роде забавного анекдота, до того был озадачен словами Христофорского, что изменился в лице и сказал, невольно возвышая голос:

-- Этому я не верю... это ваша фантазия... или она шутила или... Я допрошу ее... я спрошу у ней... поговорю... Приходите в другое время, ну, хоть завтра, около... нет, в воскресенье утром, я буду свободен. Теперь я занят. Прощайте-с. Без церемонии, прошу вас до воскресенья не бывать у нас.

Христофорский возмутился духом.

-- По крайней мере, Степан Степаныч, я уйду с надеждой, так как мои намерения самые благородные,-- сказал он как-то в нос, как будто обидевшись.

-- Я хорошо понимаю ваши намерения, и надеюсь сколько душе вашей угодно,-- отвечал Баканов, также как будто обидевшись.

-- Прощайте.

Христофорский вышел.

Баканов посидел на том же месте, потом встал, отправился в переднюю узнать, ушел ли Христофорский. Убедившись, что его и след простыл, он запахнул халат и пошел в комнату своей дочери.

-- Ну, Александрин?

-- Что, пап_а_?

-- Прикажете поздравить вас?

Александра Степановна вздрогнула и побледнела.

-- Прекрасного жениха нашли, даже согласие свое ему объявили! Имею честь вас поздравить, Александра Степановна.

-- Что хотите, то и делайте со мной,-- задыхаясь, проговорила Александра Степановна,-- я виновата. Он один меня любит, и я... я поклялась, что буду его женой.

И Александра Степановна заплакала.

Не стану подробно рассказывать о том, как наконец явилась Марья Саввишна и узнала, в чем дело; что говорил отец, что говорила мать. Дочь плакала и на все их упреки и усовещеванья отвечала: "Так угодно богу; я дала слово". Разговор этот, кажется, перешел все тоны, от шепота до решительных и громких наставлений Марьи Саввишны: выкинуть этого дурака из головы, потому что мало того что он дурак, но и озорник не последней степени.

Что ж мудреного, что весь дом узнал о сватовстве Христофорского? По всему дому пошло шушуканье. Александра Степановна продолжала хныкать, и что ей ни говорили, в каком уродливом и смешном виде ни представляли ей личность Христофорского -- ничего не могли сделать с Александрой Степановной. Такого упорства воли до сих пор в ней никто и подозревать не мог. Наконец Степан Степаныч и рукой махнул. "Ну, пусть выходит,-- заговорил он.-- Не нам жить с дураком, а ей. Любовь зла, влюбится и в козла, говорит русская пословица. Что ты будешь делать? Тут, кажется, и рассуждать-то долго не о чем. Ну, дура нашла дурака, ну и с богом! Не насильно же девку в дому держать, когда ей вон из дому хочется. Ну и пусть! Оставь ее, Марья Саввишна. Поговорили, ну и довольно. Пора и нам честь знать. Поздравляю вас с женихом, Александра Степановна",-- заключил он не без горечи и ушел в свой кабинет желчный и расстроенный.

XIX

Мы знаем уже, как неблагосклонно смотрела дворянка Бакановых на нашего Христофорского. Начались во всем доме суды да пересуды, толки да оханья, хотя отец и мать и унялись в надежде, что если отложить свадьбу на год, то в год много воды утечет. Улита, кума Трофима, и горничная Маша решились не давать покоя бедной барышне; одна пришла к ней с разными рассказами о гнусном нраве и проделках Христофорского, другая пришла сказать, что она простая девка, а позволила бы себя скорее удавить, чем вышла бы замуж за Мокея Трифоныча. Но Александра Степановна, у которой очень скоро высохли слезы, так на них крикнула, так топнула ножкой, что Улита ушла браниться в кухню и там целый день бранилась, а Маша забралась в чулан и вышла оттуда с заплаканными глазами. Марья Саввишна чутко следила за всем, что делается и о чем говорится в доме, и не вытерпела: под воскресенье ночью в последний раз решилась поговорить со своей дочерью. Она застала ее на молитве перед образом и стала подле нее молиться.

Минут через десять Александра Степановна обернулась к ней за благословением; Марья Саввишна перекрестила ее и сказала: "Ты, Саша, теперь не плачешь, видишь, что мы тебе не препятствуем, отец твой не хочет, чтоб мы тебе препятствовали. Ведь ты уж не маленькая, можешь сама, свой ум-разум и имеешь, так поговорим же с тобой по-дружески. Завтра этот фофан, прости господи, придет за ответом, и уже

немного осталось времени".

"К чему все эти толки",-- подумала дочь и сказала:

-- Будемте толковать,-- и обняла мать свою.

Минуты две они постояли во взаимных объятиях, прислонившись друг к другу своими головами, потом горячо поцеловались и сели рядом на кровати, обе в юбках и обе простоволосые; но при свете лампы дочь казалась трепетной жертвой, мать -- суровой старухой с насупленными бровями; один край кисейного полога прикрыл белую кацавейку матери, другой -- полное девственное плечико от слез да молитв еще не успевшей похудеть девушки.

-- Ну скажи ты мне, друг ты мой сердечный,-- начала мать,-- еще раз скажи, чем этот фофан успел так причаровать тебя? Ни кожи, ни рожи! Да еще и дурак-человек вдобавок.

-- Куда уж мне за красотой гнаться! голубушка маменька!

-- Ну, так что же, что в нем такого особенного?, только глуп, до того, мать моя, глуп, что все-то делают из него посмешище.

-- Я знаю, что он недалек,-- сказала дочь, опустя голову.

-- И при этом еще дурной человек, самого скверного нрава, скарעד.

-- Ну, я с этим не согласна. Вы говорите, дурной человек, ну докажите -- докажите, голубушка маменька, что такого дурного он сделал?..

Мать на минуту затруднилась в ответе, это не ускользнуло от внимания дочери.

-- Докажите! Нельзя же заверять -- дурной, злой, а почему дурной, почему злой?

-- Спроси Трофима,

-- Не хочу я его спрашивать,-- с горячностью перебила дочь.-- Мокей Трифоныч любит порядок, он строг и, может быть, поколотит его, но за что поколотит? За то, что тот дома не ночевал! он мне сам сказал, что не ночевал дома! Что, если б наша Маша пропала на целую ночь, что бы вы сказали? Да еще нагрубила вам вдобавок? Может быть, и вы не утерпели бы, за что же винить Христофорского? Папенькина кладовая у него на руках: что ж будет, если сторожа будут пропадать по целым ночам, посудите сами, голубушка маменька! Нет, вы мне скажите, не перебивайте меня, скажите, пьяница он, или нет? Нет, ну картежник? -- и того нет, ну, мот, последние деньги на пустяки тратит? Нет; я слышала, что он так экономен, что и жалованья своего не проживает -- ну, осудите ли вы за это бедного человека?

-- Да, он любит жить на чужой счет, это правда! вот что правда, то правда! он и сватается-то за тебя для того, чтобы и не так еще пожить на твой счет, на твои денежки.

-- А другие, маменька, разве лучше? Разве отставной полковник Топоков не выпрашивал, сколько у меня состояния? Хорошо, что он папе не понравился, а то так бы меня за него и отдали. Кто меня по любви возьмет, коли я такая уродилась, что ничего нет хорошего! Хотел посвататься купец Полтинников, приехал, посмотрел, осмотрел, да прямо из нашего дома и отправился к Верочке Салатовой, осмеял меня, охаял, да и сделал ей в тот же вечер предложение. Так-то, голубушка маменька! Верьте мне, что Христофорский по простоте своей не способен пускаться на хитрости; по скупости своей не проживет моего состояния, а что он любит меня, это, мама, я давно заметила, еще прошлого года осенью заметила! тогда я не чаяла, не думала, что он возьмет такую, можно сказать, смелость, станет за меня свататься; видно, что сильно любит, коли на такую штуку пустился.

-- Ну, тебя не переговоришь,-- вздохнув, сказала Марья Саввишна,-- я сама людей знаю, и знаю, что твой Мокей, про себя разумею, еще и не на такие штуки способен; у него лоб, не то что медный, а деревянный лоб, не ушибется, лезет сдуру, куда попало, авось что-нибудь да и будет! Так-то, мать ты моя, вспомнишь ты мои слова, да поздно будет! Мы тебе не препятствуем, бог с тобой, коли ты нас на такого дурака меняешь! -- и Марья Саввишна прослезилась и поднесла к глазам своим кончик своей распашонки. Она не играла роли, она действительно прослезилась, действительно ей было горько.

Александра Степановна вздохнула и опять повесила голову; но в самом наклоне головы ее высказывалось

такое упрямство, которое мы выражаем в словах: "Видно, так уж судьбе угодно!"

В это самое время в кабинете Баканова разыгрывалась сцена с приказчиком чайного магазина, но чтоб описать ее, обратимся к началу вечера.

Баканов ни по мягкости своего характера, ни по образу мыслей своих не мог быть самодуром; вот почему в то время в среде московского купечества он чуть было не прослыл дураком, а, чего доброго, в глазах многих из числа моих читателей покажется лицом чуть не идеальным и в мире купечества никогда не виданным. Баканов чуть не заболел при мысли, что дочь его будет замужем за Христофорским. Ему даже представлялось, что вся Москва будет хохотать и что на свадьбу эту сойдется народу видимо-невидимо, чтоб только подивиться такому диву дивному. Он думал наконец: "Ну, умри я, или, упаси боже! умрет Марья Саввишна, все дела мои, все наши капиталы перейдут в руки этому болвану, ну что он с ними сделает? Как он с ними управится! Просто как ни посмотри, с какой стороны ни примерь, жених не подходящий".

Вот о чем думал он и в пятницу и в субботу и чем больше думал, тем более уединялся, чувствовал себя нездоровым, расстроенным, но не запер своей дочери, не приходил с ней ругаться, не грозил ей своим проклятием или лишением наследства, одним словом, поступал действительно или как дурак, по мнению тогдашнего купечества, или как идеалист, по мнению тех, кто изучал это сословие в главных, более резких чертах его.

Но Баканов был не глуп и задал себе задачу найти возможность самым благовидным манером отделаться от притязаний Христофорского и не прослыть тираном в глазах дочери.

Вечером, напившись чаю у себя в кабинете, он сел за конторку и стал писать письмо; потом поднял крышку, достал две пачки ассигнаций, ровно две тысячи, положил их в пакет, запечатал, надписал: "г-ну Христофорскому от Баканова", и обернулся.

В кабинет его вошел старичок приказчик.

-- Вот кстати пришли! Я было хотел только за вами послать,-- сказал ему Баканов.

Старичок смиренно остановился поодаль, сложил руки, покорно повесил голову и опустил глаза.

-- Завтра поутру, около осьми часов, отнесите этот пакет с деньгами к Христофорскому.

-- Дошел до меня пустой слух, батюшка Степан Степаныч, будто дочка ваша изволит в законный брак вступить. Видно, правда, коли на расход жениху денежки посылать изволите,-- проговорил старичок, глядя в землю, тихим, даже отчасти плачевным голосом.

-- Эх, правда, Иван Прохорыч, правда!

-- Ну, коли правда...

-- Что ж мне с ней делать! Хочет выйти за него да и только; не моя воля.

Старичок вдруг оживился.

-- Господи помилуй! -- заговорил он, крестясь.-- А чья же воля, коли не отцовская! Помилосердуйте, батюшка, Степан Степаныч! Побойтесь владыки всевышнего. Это... это вы в ваших-то бусурманских книжках понавывчитали? У отца над дочерью воли нет! Ах вы, святители-чудотворцы! Впервой слышу я. Да я бы, Степан Степаныч, да я бы плеть завел, как бы из моей воли да мое родное детище вышло! Да где ж это слыхано, чтоб за такого, так сказать, ничего не стоящего человека, да такая невеста, с таким капиталом... Ба-а-тюшка, Степан Степаныч! Да мы ей, стоит клич кликнуть, мы ей такого жениха предоставим, что тебе генерал! Такого, что у самого денег куры не клюют; в каретах, на атласных подушках с кистями ездит. Помилосердуйте, батюшка!

-- Ну, что вы тут пристали! "Помилосердуйте", "помилосердуйте", как будто я сам не знаю. Девке не шестнадцать лет, давно совершеннолетняя, у самой глаза не на затылке, может видеть. Отнесите это письмо к этому дураку.

-- Не понесу, Степан Степаныч! Убейте вы меня на месте, вот сейчас провалюсь я... не пойду я к этому голышу.

-- Не пойдете? Ну, что делать!

-- И на свадьбу не пойду, Степан Степаныч!

Тут старичок во все глаза стал смотреть на Баканова, и лицо его заметно приняло угрожающее выражение.

Степан Степаныч стал ходить по комнате, но не об отказе старика он думал. Нет! Он ходил и думал: "А что, как Христофорский не примет этих денег, что, если завтра сам воротит их назад и явится за ответом? Ну, что, если какой-нибудь умный человек надоумит его это сделать! Ведь он, чего доброго, еще выиграет через это в глазах Александры Степановны. Господи! Хвастунишка, глуп, туп, ничего не знает и драчун, ни "фуа, ни луа", заключил он мысль свою по-французски. К кому относились эти милые выражения, кажется, незачем договаривать.

Так думал Баканов; и вдруг услышал, как что-то шлепнулось, как будто из шкапа книга выскочила и упала, обернулся, видит,-- не книга упала, а старик-приказчик шлепнулся на колени.

-- Ба-а-а-тюшка, Степан Степаныч! Не отдавай ты за этого прихвостня дочь свою, не посылай ты ему денег, вору эдакому... не губи ты себя, ба-а-а-тюшка! -- взмолился старик со слезами на глазах.

-- Ах, Иван Прохорыч, вы меня взбесите! Что я, маленький что ли? На коленки стали. Думаете, я сам дурак, не знаю, что делаю.

Старичок вскочил с колен и страшно вспылил, кровь заметно бросилась ему в голову.

-- Ну да! Да, дурак! Дурак вы, Степан Степаныч! Плевать мне на вас, не пойду я к нему, не пойду, хоть повесьте. Да и к вам не пойду, вот что! Пфу!

-- Ну, разгорячились! Куда вы?

Старичок обернулся в дверях.

-- Отпустите меня с богом домой, Степан Степаныч!

-- Ну, бог с вами, ступайте! Приходите завтра, поговорим и дело как-нибудь обработаем, так что... очень может быть, что и ничего не будет.

-- Так уйти, Степан Степаныч?

-- Да ведь вы не хотите относить моего письма?

-- Не хочу, Степан Степаныч.

-- Ну, так уходите!

Старичок ушел. Степан Степаныч положил пакет на стол с тем, чтоб завтра утром с кем-нибудь из сидельцев отправить его к Христофорскому,

На это письмо он надеялся, как на единственное свое спасение.

XX

Наступило воскресенье -- день роковой для Александры Степановны, роковой для Мокея Трифоныча. Александра Степановна не сомневалась уже, что Христофорскому не откажут. Мокей Трифоныч сильно сомневался... "Вижу, что этот купчина не благоволит ко мне,-- думал он,-- ну, а не благоволит, значит, мое дело не выгорит: еще, чего доброго, ее запрут, а меня в три шеи. Это будет очень неприятно... черт меня дернул так рано свататься; надо было бы прежде всего, как это умные люди делают, соблазнить ее, а потом уже и того -- жениться, а я пошел свататься",-- и Христофорский сильно был не в духе.

Обстоятельства шлифуют людей. Христофорский заметно стал шлифоваться, то есть получил возможность быть иногда собой недовольным, чего за ним прежде никогда почти не водилось.

В воскресенье проснулся Христофорский не раньше обыкновенного и взглянул в окно; в окне было мутно, пасмурно, утро было дождливое; тем не менее Христофорский стал собираться к обедне, даже думал отслужить сначала молебен, а потом уж и отправиться к Бакановым.

Трофим принес самовар; он положительно не верил, что Христофорский женится на Александре Степановне, и, когда ему об этом говорили, он только глупо улыбался и махал руками, как бы отмахивался от такой несообразной новости.

Христофорский напился чаю, закурил трубку и стал мечтать; в это время отворилась дверь и в комнату вошел какой-то круглолицый парень, остриженный в кружок, подал ему пакет и остановился у двери.

Христофорский мигом почувствовал, что под пакетом пачка денег; мурашки забегали у него по спине, лицо покрылось румянцем, нос и губы выразили в одно и то же время и вопрос, и знак удивленья.

Распечатанный пакет, кроме денег, заключал в себе следующее письмо:

"Милостивый государь

Мокей Трифоныч!

Так как я в настоящее время ничего почти не могу дать за моей дочерью, ибо капитал ее находится в обороте, и вряд ли раньше смерти она может получить его, то я и решаюсь предложить вам все, что у меня нашлось в эту минуту, а именно 2000 рублей с тем, чтоб вы отказались от ваших притязаний на руку моей дочери и оставили нас в покое. Если же вы на это не согласны, то немедленно прошу вас деньги эти мне воротить с посланным, которому приказано дожидаться от вас ответа. Остаюсь готовый к услугам

Степан Баканов".

Христофорский прочел и минуты две или три оставался совершенно неподвижным, точно на него столбняк нашел.

-- Подожди ответа внизу,-- сказал он посланному.

-- Прикажете внизу подождать-с?-- повторил сиделец и вышел.

Христофорский запер за ним дверь и стал считать деньги.

Такой суммы никогда еще не было в руках его. Доживши до 28-ми лет, он мог скопить всего только семьдесят пять рублей. Чего он ни измышлял для того только, чтоб лишний рубль приложить к своему капиталу; он дрожал над каждой копейкой, и вдруг судьба посылает ему две тысячи! и за что посылает! за вздор, за то только, что он счастливо поволочился за купеческой дочкой. Ему предлагают или отказаться от этих денег, или продолжать волочиться; предлагают променять верное на неверное.

Какой хаос, какая путаница, какой сумбур поднялся в мозгах нашего почтенного Мокея Трифоныча! Пальцы его дрожали, в третий раз пересчитывая упавшее ему с неба сокровище, щеки горели, губы странно улыбались.

"А что, если он хочет меня надуть,-- думал Христофорский,-- хочет двумя тысячами от меня отделаться!"

"А что, если pošлю я ему назад эти деньги, а потом все-таки, пожалуй, с носом буду: и деньги потеряю и Александра Степановна не выйдет за меня против воли своих родителей? Что тогда? Сперва отложат свадьбу, как это раз сделали с одним моим знакомым офицером, а потом придерутся к чему-нибудь, да и того -- откажут".

"Что ж я теперь буду делать? Гм! две тысячи, шутка сказать, две тысячи! да я на две тысячи так оденусь, так щегольну, что за меня и другая богатая невеста пойдет, тем более, что я такой человек, что мне стоит только приударить!.. или нет... другой такой не найдешь... А ну-ка он и в самом деле в затруднительных обстоятельствах, может быть, вдруг обанкротился? мало ли бывает таких случаев..."

"Нет!.. лучше синицу в руки, чем журавля. Ну, как я pošлю к нему назад две тысячи, когда он мне их дарит! Нельзя... Просто нельзя... что ж--я-ему напишу?.."

"Милостивый государь

Степан Степаныч!

Душевно благодарен вам за те присланные мне сейчас деньги две тысячи, которые я получил".

Написавши это, Христофорский мысленно вообразил себе лицо Баканова в ту минуту, когда он посватался за дочь его, лицо, не предвещавшее ему ничего доброго,-- и стал писать дальше...

"Я хотел нынче сам быть у вас за ответом; но вы не хотите этого. Я дворянин и не связываюсь, исполню ваше желание, принимаю на память ваш подарок, надеюсь не беспокоить больше вашу особу ничем, тем более,

что я знаю себе цену и никогда нигде не пропаду".

Тут Христофорский остановился и, решительно не зная, что еще написать, заключил письмо свое следующей официальной -- вежливой фразой:

"Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Христофорский".

Остановимся на этом письме и поспешим заключить рассказ наш более нравоописательный, нежели занимательный. Степан Степаныч получил письмо Христофорского в тот же день и в тот же день объявил Александре Степановне, что жених променял ее на две тысячи.

Александра Степановна не сказала на это ни слова, страшно побледнела и ушла в свою комнату. С этой минуты она глубоко возненавидела своего родителя.

"Он не должен был искушать его",-- думала бедная девушка.

Христофорский нисколько от этого не потерял в глазах ее. "Он видел,-- думала она,-- что от него хотят отбояриться деньгами, и так как он очень бедный человек, то скрепя сердце и решился отретироваться".

Марья Саввишна стала изо всех сил хлопотать о том, чтоб выдать замуж дочь свою, но, хотя и находились женихи, Александра Степановна как бы назло ей не хотела идти замуж. "Я скоро умру, у меня грудь болит, я вся больна, для чего мне замуж",-- и действительно она похудела.

Степан Степаныч по-прежнему торговал, по-прежнему играл в преферанс, но в минуты раздумья сжимал пальцами нижнюю губу, и думал: "Черт знает, что хорошо, что дурно! Радовался я, что отделался от Христофорского, и вот вижу с тех пор, что дочь на себя не похожа. За этим дураком она была бы, может быть, счастливее; хоть бы надувала его, хоть бы ссорилась, все жизнь была бы... может быть, и то, что от дурака-то мне бы умного внука бог послал, и это бывает... Черт знает: что тут хорошо, что дурно!..".

Так философствовал Степан Степаныч и всячески старался помириться со своей дочерью.

Она была к нему почтительна, но холодна, спокойно сносила намеки и насмешки родных и знакомых на счет любви ее к Христофорскому и отказывалась от всяких развлечений, от театров, пикников, вечеринок. Стала ужасно упрямой и капризной старой девушкой.

Христофорский, вскоре уволенный от занимаемой им должности при кладовой, долго, упорно держался даровой квартиры и переехал на другую квартиру только тогда, когда пришли плотники ее переделывать.

Он не пропал. Счастье, в которое он верил, стало служить ему.

В палате прежде всего стал носиться слух, что купец миллионер не отказал ему, а сказал: "Я очень рад отдать за вас дочь свою, только дослужитесь до столоначальника". Этот слух и необычайное усердие, с каким он стал служить, помогли ему. Года через два он уже был сам столоначальником. Стуколкин сначала воевал с ним, требовал с него денег, разглашал про него, что он и скотина и мерзавец, наконец, присмирел; только перестал отвечать ему, когда тот о чем-нибудь его спрашивал.

Прошло еще лет пять, Христофорский стал еще опытнее и, по совету одного обязательного чиновника, женился на содержанке какого-то богача, разумеется, для того только, чтобы дать свое имя ее детям. С женой своей он выезжал кататься под качели, иногда сопровождал ее в театр, но не смел и носу показать в ее спальню. Он получал от нее нечто вроде жалованья, копил деньги и был очень доволен судьбой своей, даже гордился своим положением.

В 1847 году я слышал, не знаю, правда ли, что Христофорский был уже переведен на порядочное место в какой-то губернский город. Гордо ходил он с орденом на шее и по-прежнему считал себя самым умным человеком в целом городе. Не знаю, правда ли?